

84.5 КОЗ

A 93

201

БИБЛИОТЕКА  
КАЗАХСКОЙ  
ПРОЗЫ

# Мухтар АУЭЗОВ



Красавица  
в трауре

**Мухтар АУЭЗОВ**

**Красавица в трауре**

*Рассказы*

*Легитимированный перевод с казахского Л. Пантиелева*



ББК Х4 Кнч 7-44  
А 93

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,

ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОГЛАСИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**Ауэзов Мухгар. А 93**  
**Красавица в трауре. Рассказы.**  
Астана: Аударма, 2003. 88 стр.

ІЗВЫ 9965-18-062-8

«Красавица в трауре», «Сиротская доля» и «Серый лютый» — эти рассказы, сочиненные Мухтаром Ауэзовым в далекие уже двадцатые годы ушедшего XX века, открывают новую серию «Библиотека казахской прозы».

Эти произведения — подлинные шедевры не только казахской, но и мировой литературы. Со страстью и болью, с великой нежностью и уважением воссозданы в них драматичные и трагические судьбы героев. Их самобытные натуры и непокорные, противоречивые характеры.

4702250201-67 <sup>A</sup> 00 (05) 03 ББК 84 Каз 7-44

## **КРАСАВИЦА В ТРАУРЕ**

### *Рассказ*

Шесть лет... Шесть лет прошло в трауре, в исчали. Какие это были долгие, бесцветные, унылые, холодные годы. Они походили на позднюю осень. Каждый из них — словно целая жизнь.

Шесть лет Карагоз была пленницей вдовье- го ложа, жила, как птица в клетке. День за днем проходил без тепла, без улыбки. И казалось, что Карагоз смирилась со своей участью: и не томилаь, и не тосковала, и не мечтала об иной жизни. Карагоз удивляла и, может быть, гордилась своей стойкостью, одиночеством, тем, что была не похожа на других. Вдовый траур стал ее привычкой, ее обычаем. Так путник свыкается с кромешной темнотой ненастной ночи, идет, как слепец, но будто бы что-то видит...

Ссегодня, по обыкновению, она молчалива и замкнута. А весь аул ее шумно радуется.

Аул Карагоз в пути. Еще в ранних сумерках разобрали и погрузили юрты, едва солнце обогло вершину ближнего холма, — люди были в

седле, имущество на колесах, скот на ногах. Снялись с кочевья по просторным дорогам-ущельями тронулись в горы, на другое кочевье, манившее густыми травами, тенистыми рощами и прохладными озерами.

Говорливой пестрой нарядной толпой теснились поблизости от возов верхом на конях женщины, с ними дети. Впереди молодые гнали табун коней в четырёхста или пятьсот голов, чабаны вели овечьи отары. Кони и овцы напоминали кипучий клокочущий поток, который вырвался из ущелья на простор нетоптанных лугов.

Радостный поток жизни вторгся в девственное безмолвие... Люди были настроены празднично. Озорные девушки и смешливые молодые люди не давали проходу мужчинам и парням, встречали и провожали их залпами колких и соленых шуток. А тем только того и надо, за тем они и подъезжали сюда, к возам. Молодые парни гарцевали в седлах, как их кони под ними. Жеребцы плясали, заливались ржанием, рвались к табуну. И парни тогда дело пускали их вскачь и с гиком, свистом налстали на табун, подгоняя его. Сотни коней, развевая по ветру гривы, уносились вдаль, сотрясали землю громовым топотом.

Всеселый и шумный кош — кочующий аул, пожалуй, способен разбудить древние утесы от вековой дремоты. Смотришь — и чудится: замшевые скалы добродушно ухмыляются камен-

ными морщинами со своих обрывистых высот, посылая гостям привет и воздавая им честь. Джайляу, которое сиротливо пустовало целый год, раскрывает кошу объятя, точно ветвистая крона — перелетной птице. Все кругом, точно на великом пиршестве, дышит хмельной радостью, буйной силой.

И трудно удержаться от того, чтобы не скакать, не кричать и не смеяться во все горло. Общее возбуждение увлекало и заражало не только молодых. Не было в ауле ни одного человека, которого не коснулась бы неосознанная смутная мечта о чем-то необычайном, пржде недостижимом, а ныне таком близком.

Чабану Булату минуло полвека. Усы у него с проседью. Но и он, когда мимо его отары с гомоном и девчачьим визгом проезжал кош, лихо подскакал на своей саврасой кобылке и с ходу врезался в толпу всадниц. Он тоже балагурил со своими сверстницами, задирали их, подмигивал им, напрашиваясь на остроты словно. И, когда одна молодая, краснощекая неожиданно стегнула кнутом саврасую кобылку под ним, он словно помолодел. Он почувствовал себя кавалером, достойным ее внимания, и осанисто выпрямился, трогая сивый ус.

Карагоз схала в рессорной коляске, запряженной тройкой. Поравнявшись с чабаном, она неожиданно окликнула его:

— Ай, Булат и в тебе еще шайтану есть чем поживиться! И в тебе еще искорки от вчерашнего костра!

Слова мудреные, но Булату понятен их смысл. Ага, подумал он, вот и сама Карагоз нас заметила. И он браво и почтительно привстал на стременах.

— Что там толковать, милая! Молодухи — ровно кипятки, я от них таю. Так по всем жилам и ходит, так и прошибает...

Карагоз отвернулась. Только она одна, хозяйка скота и повелительница аула, первая и самая красивая в этой озорной и дружной толпе, ко всему равнодушна. Она погружена в свое горе. Она в унынии. И длится это уже шесть лет...

Ей было несомненно больше двадцати, когда она покрыла голову черным платком и захлопнула перед собой двери радости. До того она считала себя баловнем судьбы. До того она была весела. Внезапная злая смерть унесла ее мужа, а Карагоз сломала. Среди сверстников Карагоз не знала ему равных.

Его звали Азимханом, он был единственным сыном в семье. Родичи его жили в своих аулах, своими заботами и нуждами и со временем отдалились от него. Ближе всех Азимхану был его отец Уссе, переступивший уже порог семидесяти лет. Но, хотя Азимхан был отроду один — родных братьев не имел, он прославился

по всей огромной Иргайлинской волости. Пожалуй, ни один человек из малочисленного рода не мог бы добиться такой известности и уважения, как Азимхан.

Издавна иргайлинцы были в раздоре с родом Кобыртауской волости. И тем, и другим жилось беспокойно. Днем и ночью то и дело слышался родовой клич, истошные крики: «На коней!», завязывались яростные стычки, шла упорная взаимная барымта.

Еще до женитьбы на Карагоз Азимхан был в числе самых драчливых, самых отчаянных. Обычно он возглавлял знать своего рода и других родов, когда она шла с копьями и дубинками драться за честь иргайлинцев. Но нередко Азимхан пускался в путь к конырtausцам один, на собственный страх и риск, и ввязывался в ссоры. Злые языки говорили, что конырtausцы особенно ненавидели род Усена. Это слышали не один, а много раз. На то была особая причина.

На один набег конырtausцев иргайлинцы отвечали двумя-тремя. В этом деле сын Усена был неутомим. А подогревало распрю то, что жила на свете такая девушка — Карагоз, и была она с детских лет просватана за конырtausца, внука Сыбанбая, главы богатейшего рода.

Не нравилось Азимхану то, что Карагоз — невеста конырtausца... Не нравилось это и самой Карагоз. Ей по душе пришлось один отчаянный иргайлинец!



Жених Карагоз был хромцом, в юности повредил ногу. Даже и родной семье его не почитали и недолюбливали.

Стыдно было Карагоз идти за жалкого и хилого, богом обиженного человека. И, хотя неммыслимо послушаться родительской воли, она не скрывала недовольства. Но отец уже взял за нее калым.

Мать Карагоз была родственницей Усена и, естественно, тянулась к нему. Его аул был близок и сердцу Карагоз. Она часто приезжала к этому аулу, гостила в нем по многу дней — и с матерью, и одна. В нем рос один мальчик, отроду один — без родных братьев, но такой забияка, будто их у него имелось семеро! Этот мальчик был люб Карагоз больше, чем его сестры.

Правда, и ему, еще малолетнему, родители сосватали другую, а когда он вырос, женили на ней. Своей судьбы не обойдешь. Затем в один год случилось два несчастья: умер отец Карагоз, а Азимхан похоронил первую жену. И до этого было известно, что Карагоз не хочет идти за внука Сыбанбая. Но мало ли какая прихоть взбредет в голову девице! Мать не слушала ее жалоб, отмахивалась, говоря, что время придет, видно будет. Но, овдовев, мать стала прислушиваться к дочери внимательней.

А там приехал в их дом милый храбрый Азим. Приехал проведать... Так все думали. Так, возможно, думал он сам, поскольку и он овдовел-осиротел. Когда же он вошел в юрту и увидел

Карагоз, не ту, что знал прежде, а ту, которую еще не видел, о которой только слышал от людей и догадывался, душа его исполнилась решимости.

Он помнил ее еще ребенком, подростком. Теперь перед ним была девушка — рослая, тонкая, гибкая и сильная. Какие у нее чудесные волосы! Какие прекрасные глаза! А ведь он не видел ее всего год... Перед ним была невеста, о которой он мечтал. Вот она, его судьба. Карагоз смотрела застенчиво, но на щеках ее играла горячая кровь. Она чувствовала его волнение и радовалась ему. Их радость была общей.

И когда Азимхан, поздоровавшись с матерью, повернулся к дочери с обычными словами: «Здорова ли ты, милая?» — и Карагоз коротко ответила ему, они словно обменялись безмолвным признанием. Им не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Они говорили сердцами. Сердца их были полны надежды.

Вскоре же после этой встречи начались трудные переговоры.

Родичи Карагоз не противились Азимхану. Они к нему благоволили. А мать, овдовев, спешила опереться на род Усена. Она искала защиты, а нет защиты надежней, чем родство. Азимхан получил тайное согласие. Однако это полдела. На пути жениха и невесты лежал горный хребст с опасным перевалом — Сыбанбай и коньртаусцы.

Невеста была чужая. Она была продана вражескому роду.

Сыбанбай пришел в бешенство, узнав о плачах старого Усена и его сына. Коньртаусцы взбудоражились от мала до велика, кровно задетые и оскорбленные. Было ясно, что они не уступят невесту без боя.

Кто знает, как бы обернулось дело, скорей всего — худо, если бы не случилась еще одна нечаянная смерть. Внук Сыбанбая, чахлый хромец, оказался не живуч: отдал богу душу. У всех других детей Сыбанбая, сыновей и внуков, были жены или засватанные впрямь невесты. Все же упрямый и строптивый старик сказал, что не откажется от своего сватовства.

— Пусть Карагоз подождет кого-нибудь из моих младших внуков.

Он хотел сохранить красавицу для правнука. И все же теперь спорить с ним стало легче. Неписанный степной закон был на стороне Усена.

Усен возместил Сыбанбаю весь калым, уплаченный за Карагоз, и сосватал ее родному сыну. Через год Азимхан привез ее в свой аул с богатым приданым.

Казалось бы, на том можно было и помириться — иргайлинцам с коньртаусцами. И в самом деле, распря как будто бы приутихла. Года два-три жили по-добрососедски, хотя и в это счастливое время обе стороны ревниво следили друг за другом и не забывали старого. В ровной степи старое властно.

Всякий раз, когда разносилась молва, что Усен своей силой добился богатства, Сыбанбай делал так, чтобы укротить его силу, убавить богатство. А Усен был доволен, когда ставил Сыбанбаю подножку. Родовая спесь их ожесточала. Они поочередно брали верх друг над другом и никак не могли сквитаться. Не дано было этим людям и их родам поделить меж собой великую степь, освятить ее миром.

Опять вспыхнула, как моровая язва, и пошла гулять по кочевьям барымта.

В злосчастный год аул Усена перекочевал к реке Каинда, в излюбленные родные места, куда шесть лет спустя двигался кош Карагоз. Ночи были беспокойные. В ауле Усена ждали ответного набега и потому оставляли у коновязи под седлом боевых коней, сильных и быстрых же-ребцов. Спали чутко. И вот послышался знако-мый вопль: «На коней!» Азимхан был первый на ногах и в седле.

Ночь выдалась тихая, лунная. Карагоз побежала следом за мужем, схватила за повод его рыжего скакуна. Никогда прежде она не была так встревожена, никогда прежде так не боялась.

— Не надо вам самому... — просила она. — Пошлите других... Не надо сегодня, милый...

Он не послушался ее. Ему был неприятен ее страх. Злая воля бурлила в его жилах и звала

вперед. Он торопился и сгоряча оттолкнул Карагоз.

Еще трое-четверо поскакали вместе с Азимханом. Они с грохотом пронеслись по каменистому буграм, подобно маленькому обвалу, и исчезли вдали.

Вслед им суматошно гомонил весь аул. Оставшиеся без коней кричали, размахивая руками, и бегали взад-вперед без толку.

А там, куда ускакал Азимхан, ошалело орал табунщики, глядя на то, как барымтачи угоняют их табун. Табунщики гнались за подлыми ворами, но на порядочном отдалении, потому что чужих было многовато. Так, по крайней мере, казалось в ночи.

Азимхан не стал собирать табунщиков и считать, сколько перед ним врагов. Он послал коня прямо на гулкий топот угоняемого табуна, похожий на грохот горной лавины. Азимхан живо настиг налетчиков. А затем, не оглядываясь, идут ли за ним джигиты, обогнав и своих, и чужих, с гиком поскакал в обгон табуна, стараясь завернуть его и остановить.

Горд и горяч был Азимхан. Он не знал боязни и опаски, а потому внушал страх многим. Однако был он не особенно силен и не так уж ловок. Дрался он лихо, яростно, но не имел ни навыка, ни сноровки настоящего барымтача, поскольку был хозяйским сыном. Недоставало ему хладнокровия.

Обычно он увлекал за собой робких и ленивых увальней-силачей, а врагов распугивал. На этот раз схватка сложилась скоротечная.

Два крепких парня, поднаторевшие на барымте, заметили в лунном свете всадника на рыжем скакуне. Догнать его — не догонишь. Больно резв под ним конь! Но он сам вернулся к ним, заворачивая табун. И они встретили его..

— Вот он... Давай! В тиски его... в тиски...

Азимхан врезался между двумя молодцами, как топор в вязкое дерево. Его словно заклинило. Все трое завертелись на одном месте на визжащих, грызущихся конях. Азимхан первый с ходу огрел дубиной по башке здорового детину справа, сидевшего на сивом скакуне. Удар вышел звонкий, короткий, легкий. Ответный свистящий удар пришелся мимо — Азимхан увернулся, припав к гриве своего коня. А вот парень слева, сидевший на желтомастном жеребце, медлительный и вроде бы нескладный, не целясь, с разворота вцепил дубиной Азимхану прямо в лоб. Удар глухой, страшный.

Этот удар остановил и всадника, и его рыжего скакуна.

Азимхан не чувствовал, как сполз и соскользнул на землю, подгибая ноги, разбрасывая руки. Конь потянулся к его лицу мордой и отдернул ее, захрипел, приплясывая на тонких ногах.

Подъехал и наклонился из седла над лежащим тот парень, который ударил его, и сказал другому, которого ударил Азимхан:

— Эх, ты... Плоховато он упал с коня. Ви- дел, как он упал? Не дай бог, помрет... Неужто помрет?

— А ты как бьешь... Не знаешь, как ты бьешь?— пробормотал другой.

Азимхан лежал мертвый, не успев вымол- вить своей любимой последнее «прости». Ду- бина расколола ему череп. Когда примчались его люди, он уже не дышал.

Карагоз в ауле, у своей юрты, почувствовала его смерть. Она вскрикнула, ломая руки. Упала на землю, прислушиваясь к ней, глядя в темноту безумными глазами. И услышала издалска, с лугов, оттуда, где вдруг утихли боевые клики, новый, не прежний, загадочный шум. Голоса были тоскливые, со слезой. Это табунщики ехали в ауд протяжно крича:

— Родной мой! Опора моя!

С той ночи и начался шестилетний траур Карагоз.

Иргайлинцы не остались в долгу у обидчиков. В одной схватке они тоже убили человека, тоже молодого, ибо в набеги ходили молодые... Помимо того, коньртаусцам пришлось уплатить выкуп за убийство, равный стоимости ста верблюдов. Выкуп огромный! Вообще нагнали на коньртаусцев

страха... Хотели порадовать молодую вдову. Но Карагоз не утешилась.

Ни старый тесть Усен, ни маленький сынок Мукаш не могли ее отвлечь от горя.

На двухлетнего Мукаша сородичи смотрели с надеждой. «Лучше живая мышь, чем мертвый лев», — поговаривали они словами пословицы, а думали о том, как из ребенка вырастет джигит: вспомнит он пролитую отцовскую кровь и воздаст за нее сторицей. Все молили бога за Мукаша, последнего в роду, как будто века и поколения суждено было враждовать иргайлин-цам и коныртаусцам...

Семидесятилетний Усен дождался поминок по сыну, тех, которые справляют через сорок дней после смерти, и умер, одряхлевший, исчерпав свою силу, сделав в жизни все, что мог.

Мужское бремя легло на плечи Карагоз. Нелегко женщине распорядиться большим хозяйством. Непросто молодой вдове управлять родом своего мужа и тестя. Мало ли ходило около нее охотников — и до ее богатства, и до ее красоты! Среди них были настырные, привязчивые. Иные соблазнили ее, иные стра- щали. Она справилась со всеми. В отличие от своей матери, она не искала защиты и опоры. И табуны, и отары ее были в порядке.

Первое время она словно разом постарела. Чувство опустошенности и безнадежности шло за ней, как тень. Она была одна, а тоска ее бе-



зыходна. В вечерних сумерках, в пору любовных свиданий, и на рассвете, в пору самого сладкого сна, Карагоз, пряча лицо под траурным платком, заливалась слезами. Она не могла сдержаться и не хотела сдерживаться. В ауле слышали, как она голосила, слышали ее причитания, певучие, как степной сказ. Она звала мужа и говорила с ним подолгу:

— Сокол мой ясный, крылатый... единственный ты мой... высокий, как тополь у ручья... золотой мой... сильный мой, грозный мой, крепость моя и воля...

И тот, кто слышал ее, запоминал слова и музыку ее плача, как запоминают песню. Горь-кая была эта песня, горше полыни, но ее передавали из уст в уста. И вскоре по всей Иргайлинской волости знали, как прощается и не может проститься Карагоз с Азимханом, как обжигают ее вздохи, как едки ее слезы и как выцветают от них ее глаза, блекнут щеки.

Со временем о ней, узнице траурного покрывала, стали поговаривать с похвалой, как редко говорят о женщине:

— Вон как оплакивает возлюбленного...

Старики и старухи, которые видели на своем веку всякое, отзывались о ней такими словами, какими говорят не о живых, а о живших и оставшихся в легендах.

— Не было женщины, подобной Карагоз! Траур ее долог, траур ее свят... Дурным он — в тягость, мудрым — пример, богу — в угоду.

Эта слава вернулась к Карагоз, словно эхо в горах, многократно. Эта слава возвысила ее и сковала, как зимняя стужа сковывает бурные воды.

Цвели весны, зелеными морями разливались джайляу. Вдогонку за веснами, за жизнью кочевал аул. Рос и креп Мукаш. А Карагоз ос- тавалась верна себе, своей редкостной славе. Она жила вдовой, как угодно было старикам и .богу, и не ласкала никого, кроме сына. Она устояла перед тысячью соблазнов и ни разу не проявила слабости. И длилось это уже шесть лет.

Недаром, когда Карагоз сказала чабану Булагу о шайтане и искорках вчерашнего костра, ее слова показались ему набожными.

А между тем она была молода. Она была жива. По-прежнему прекрасны были ее печальные черные глаза, смуглым румянцем горели щеки. Слезы не источили ес красоты. Тело ее, белое-белое, лишь слегка располневшее, было юно. Оно дышало здоровьем, быстрой и нежной силой. В нем билась горячая кровь, равнодушная и не утихомирная.

Карагоз была женщиной, была матерью. Она любила и была любимой. Она извела счастье, которое суждено не каждой смертной. И вдруг оказалась словно в темнице, за чугунной дверью. о, если бы знали люди, которые распевали ее плачи, какую муку несла в себе.Қарагоз!

Если эта мука угодна богу, поистине она адова. Тщетно Карагоз, задув лампу и ложась на одинокую постель, читала молитвы. Тщетно она молила у бога благодатного сна. Сон и покой были у других, слабых, грешных, у тех, кого не хвалили благолепные старики. Ее уделом был темный ночной бред, бред страсти. Огненные змеи ползли по ее жилам; они выползали на ее грудь и целовали ее в шею, оплетали и изламы-вали все ее тело сладостной и гнетущей судорогой. И не было от этих змей спасенья. От темна до света Карагоз не могла вырваться, отдышаться, прийти в себя. В мучительной истоме, ослепшая и оглохшая, она зажигала лампу, звала старую доверенную служанку, обнажалась перед ней и велела себя бить, срывать с груди ползучий змееподобный огонь. Служанка пугалась того, что на ней нет лица, и тоже молилась в страхе. Карагоз извивалась перед ней, словно в припадке. А служанка не смела и подумать, что это молодость рвется из траурных пут, что это жизнь ищет воли.

Была пора — изменился характер Карагоз. Она казалась больной — настолько становилась неровна с людьми. Стоило дунуть на нее, и она вспыхивала, как порох, негодовала, сердилась и гневалась из-за пустяка, была нетерпима, высмеивала и обижала людей без жалости. А иной раз замыкалась в себе, уползала, как мышь в нору, и уныло молчала неделями, не поднимала на

людей глаза, как девочка, и сама вызывала к себе жалость. Тогда даже обиженные ею думали про нее, что она не щадит себя, а осмеянные дивились, как она к себе строга. В другое время она поражала людей своей неженской волей, хозяйской сметкой, властностью, обжигавшей, как камча.

Нынешней весной, на седьмом году вдовства, Карагоз опять стало невмоготу.

Дни стояли теплые, празднично-светлые, радостные, ночи студены, но ясные, звездные, манящие. Горы, луга, воды помолодели. Все сияло, все шумело. Конский топот, бляение овец на просторах джайляу — желанная музыка. Люди были хмельны от счастья жить на подоблачных высотах, под орлиными небесами. У каждого и у каждой на душе что-то свое, тайное, заветное, — может, надежда, может, мечта. Чабан Булат, привыкший не спать по ночам, сторожа овец, и тот не постеснялся, закричал при всем народе, что хмель у него по жилам так и ходит, так и прошибает...

Карагоз отвернулась, услышав это. Но от одного безобидного словца «милая», от хрипловатого застуженного голоса чабана огненные змеи поползли по телу, Карагоз погнала вперед свою тройку и гнала ее до самого берега Каинды.

Здесь она сошла с повозки, оставив в ней спящего Мукаша. Медленно пошла вдоль берега, заросшего молодым белоствольным березняком и непролазной черемухой. Звонко и

нежно журчала вода. Утренняя прохлада оведала лицо и шею Карагоз, а грудь горела. Ноги были слабы, колени дрожали. Хотелось лечь, прижаться к земле, обнять стволы берез, напояющие своей шелковистой корой живое тело.

На знакомой полянке она увидела распряженный старомодный тарантас с задранными в небо оглоблями. Ни людей, ни коней поблизости не заметила. «Будут соседи», — подумала она безразлично. Здесь, у Каинды, Карагоз впервые узнала о гибели Азимхана. Но и об этом она думала вяло. Ей было душно, точно в знойный полдень. Сердце билось тяжело и гулко

Из ближней рощицы, пышной и тенистой, донесся залихватистый юный смех. Это смеется девушка... Затем послышался веселый зовущий возглас. Это парень... Карагоз слышала их словно в дремоте. Хотела пойти прочь, а пошла в рощу, на голоса.

На опушке она остановилась. Свистнул соловей, прочищая горло. Еще свистнул и затрещал, зашелкал хлестко, подобно маленькому кнуту. Сколько раз слышала Карагоз соловья в этом урочище. И проходила мимо. Теперь она стояла, подняв воспаленное лицо, прищутив глаза, и слушала, упиваясь. Соловей высвистывал песенку, прежде не слышанную, Карагоз ее понимала.

Он пел песню того утеса, который возвышался серой громадой над рощей. Утес одинок, он ранен в самое сердце, он тоскует. Он послал соловья спеть Карагоз. Пусть она знает, что наболело на каменном сердце. Она безутешна седьмой год, а он — седьмой век. Они сверстники по чувству, по боли.

Потом соловей спел ответную песню Карагоз. Теперь она послала его ответить утесу. Соловей пел как она красива, как жгуче черны ее глаза и нет ничего ярче ее глаз, ведь ее имя означает — Черноокая... Соловей пел, как в ее душе безлюдно, пустынно, ни капельки влаги, ни зеленой былинки.

Карагоз слушала певца и мысленно спрашивала его в сладостном онемении: к чему ты клонишь? Куда ты ведешь?

Незаметно она прошла в глубь рощи и вздрогнула, увидев за густой листвой широкую спину парня и плечи девушки, стиснутые его рукой. Парень в белой сорочке и черном жилете, у него кудрявые волосы, и они взлохмачены, конечно, ее рукой. Девушка тоже нарядно и опрятно одета. Они сидят, обнявшись, на зеленом берегу и шлепают по воде босыми пятками. Каинда отвечает им тихим плеском. Они не видят Карагоз, играют и смеются, поминутно валя друг друга на траву. Задумчивости ни следа.

Это жених и невеста из аула Исмагула, дальнего родственника Карагоз. Она их знает. Парень хорош собой, к тому же грамотный, ученый. Все лето на джайляу он будет со своей нареченной, и родители не стеснят их свободы.

Раз они жених и невеста, они вольны решать, по душе ли они друг другу. Но видно, что им хорошо вместе, они не расстанутся.

Карагоз неотрывно смотрела на них сквозь листву, хотя следовало бежать без оглядки. Голова ее шла кругом. Листва вихрилась перед глазами. С небывалой силой вздулись в ее жилах огненные змеи и незримо выползали ей на грудь, обвивая шею, руки, ноги, тело. Еще минута, и они повалили бы ее на землю, изламывая в мучительной, неодолимой судороге. Последним усилием Карагоз поборола себя и пошла назад, стараясь не зашуметь. Лицо ее горело от стыда и от страха перед самой собой.

С радостным гамом подкатил к Каинде кош Карагоз, гоня перед собой табуны и отары.

Сняли с воев, разобрали и поставили юрты. Как обычно в таких случаях, суетились и хлопотали до позднего вечера. Угмонились, когда взошла луна. Разошлись усталые. Всех сморил сон. Бессонный овечий страж Булат и тот, наверно, улегся под кустом, неподалеку от стада, укрылся дерюжкой и задремал чуток как пес.

Карагоз не спала. Она лежала, оплетенная огненными змеями. И виделось ей всеобщее людское веселье сегодня днем, на пути к Каинде. Теперь ей казалось, что все мужчины, все молодухи, пошучивая друг с другом, смеялись над ней, над ней одной, потому что она среди них белая ворона.

Впервые за шесть лет привиделся Карагоз во тьме юрты юноша, статный, со взлохмаченными волосами, в белой рубахе и черном жилете. Он прошел прямо сквозь стены юрты и обвил ее прохладными ладонями, приник к ее шее, смеясь и шепча на уха Она хотела обнять его он исчез, но она слышала его шепот — он звал ее.

Карагоз крикнула:

— О аллах, я не могу больше! О боже, зачем я тебе такая?

Вскочила и бросилась вон из юрты, сама не зная, куда.

Аул, словно выбеленный и посеребренный луной, был тих и нем. Меж юртами ни души. Блестела трава под босыми ногами Карагоз, блестела тонкая рубашка под черной струей распущенных волос. Карагоз не ощущала ночной прохлады. Она была в огне. Подойдя к реке, она вошла в прозрачную воду по колени и легла спиной на отлогий берег. Тело ее обнажилось. Оно было слепяще белым. И по нему ползли огненные змеи.



Хрипловатый застуженный голос окликнул ее, словно с вершины утеса:

— Карагоз, милая. Никак ты? Что это с тобой?

Она не понимала, кто и о чем с ней говорит. Она услышала мужской голос и тотчас протянула к нему руки, не поднимаясь с земли. И, когда прохрустели по траве тяжелые мужские шаги и человек подошел и наклонился над ней, она с силой потянула его к себе; обняв всем телом, стала целовать

Померкло лунное небо, погас блеск воды и травы, растаяли туманные блики далских горных белков. Зато огненные змеи радостно плясали в жилах Карагоз. В помрачении страсти она видела только посеребренную щеку Булата и его сияющие белизной волчьих зубы.

1925.

## СИРОТСКАЯ ДОЛЯ

### *Рассказ*

Столбовая дорога тянулась мимо горы Аркалык. Дорога степная, унылая, голая, и Аркалык издалика бросался в глаза, вселяя надежду в души усталых караваншиков. Узкий гребень горы провожал дорогу верет десять. Но тщетно здесь искали затишья. Одинокий Аркалык не укрывал от пронзительных ветров ни с севера, ни с юга. Зимой гору обволакивал сугроб, круглый, как яйцо. Здесь постоянно свирепствовали метели, и то и дело случался джут — белая гроза для скота, черная беда для людей.

В аулах близ Аркалыка селилась, сетуя на бога, беднота, голота. Селилась по наследству от предков и потому, что больше поселиться было негде. Утешало то, что земля под горой была плодородна, люди пахали и сеяли и тем кормились. В затяжные метели, в гибельное степное ненастье у этих людей находили приют и ночлег путники с большой столбовой дороги.

Единственный перевал на Аркалыке назван Кушикпайским. Кушикпай — родоначальник

местных жителей. По преданию, он был батыром. Неподалеку от дороги хорошо виден старый

могильник, невысокий курган, сложенный из необтесанного камня. Это могила Кушикпая. И, кто бы здесь ни проезжал, все узнавали, кем был этот необыкновенный человек и какую жизнь он прожил.

Память о Кушикпае ревниво хранили немощные, голодные и хворые старики — живая летопись степи. Они не пытались приукрасить словами сердце Кушикпая, они только стерегли, чтобы оно билось. А уж приукрашивали другие — с их слов... Если хозяйские овцы под вечер благополучно пригнаны из безлюдной ветреной степи и можно разогнуть у очага на- тружснную спину, если ты, гость, по душе хозяину, не досаждаешь ему, не творишь ущерба, беря у него корм для своих лошадей и волов, и если в доме есть чай, а из котла на огне благо- даря богу и тебе пахнет мясом, — садись, добрый человек, слушай!

Обыкновенно гость дремал, промерзший, измученный дорогой, но слушал. Слушал и ухом, и сердцем.

Кушикпай умер молодым, двадцати одного года от роду. С юности он искусно владел соилом и шокпаром, мечтал стать военачальником, возглавить ратных людей, ходить в боевые походы. Был он находчив, ловок, неутомим, неимоверно силен и не знал себе равных в схват-

ках и стычках. Он не боялся ни человека, ни зверя, ни оборотня, ни вьюжной ночи, ни злой приметы. Потому и прослыл батыром.

Черная оспа, пришелица с юга, настигла Кушикпая и свалила наземь, как не мог бы свалить ни один силач. Дни и ночи лежал он и бредил. Об этом прознал его давний соперник из рода уак и сказал себе: пришла моя пора! Заявился в аул Кушикпая и, насмехаясь над лежачим, среди бела дня угнал его любимого коня Кызылбесты, стоявшего на привязи у юрты.

Дошла печальная весть до Кушикпая. Осер-чал батыр, поднялся на ноги, не чуя боли, накинул на голое тело чекмень, халат из верблюжьей шерсти, и пустился в погоню. С пикой наперевес, страшный, грозный, прискакал он в аул обидчика, когда тот весело похвалялся угнанным знатным конем и своей безнаказанностью. Нрав Кушикпая знали: он готов был биться насмерть хоть с вором, хоть со всей ватагой его родичей и слуг.

Перетрусили молодцы. Вмешались аксакалы и уговорили Кушикпая не проливать крови рода уак, к которому он сам принадлежал. Вернули ему коня и, чтобы забылась кровная обида, преподнесли богатый халат, проводили из аула с честью.

Ехал Кушикпай через Аркалык. На виду у перевала оспа сказала свое последнее слово: стояла батыра с седла уже без памяти, в горяч-

ке. Чекмень на нем был насквозь пропитан гноем из растертых оспенных нарывов. Все же, говорят, успел Кушикпай лечь головой в сторону Каабы — по мусульманскому обычаю, при- ник к родимой земле и простился с жизнью. Тут и догорел.

Но земля не забыла, как он ее обнимал, и потому степь у Аркалыка так сурова, потому обледеневаает зимой и не кормит скот, а людей гонит прочь жгучими ветрами, слепит метелями. Не прощает она того, что Кушикпай умер молодым, умер во гневе, не насытив своей дерзкой души.

Вот что рассказывали на столбовой дороге у Аркалыка убогие бедняки, гордые тем, что они потомки батыра. Тяжко было бремя их жизни, но ее освещала слава Кушикпая, то, как он умер, как жил, как летел на коне, черно-пятнистый от оспы, словно барс.

Кончался январь. Лениво угасал морозный день. Небо было ясно. Лишь на закате, как в кузнечном горне, жарко плавилась корявая железа туч. Сквозь них глядело чудовищное кровавое око солнца, без ресниц, с бельмом посредине. Чуть выше, подобно клубам дыма, висели облачка, багровые снизу. Небо над ними бледно зеленело. А в сторонке одиноко торчала опрокинутая ущербная луна. Она смотрела испуганно, как бы из-за кисейной занавески.

Весь день было безветренно, но на перевале Кушикбая мело. Свежий снег взвивался красносиреневыми космами и серпами. Тени лежали, как вспухшие жилы. И казалось, тени ползут, ползут и высасывают из сугробов красноту.

По дороге к Аркалыку ходкой рысью бежала пароконная упряжка. В легких желтых саях ехали два отменно одетых человека.

В одном из них сразу узнаешь господина. Поверх теплой одежды на нем серый чекмень с щегольским черно-бархатным воротником, на голове — новый лисий малахай. Обут в превосходные шевровые сапоги; из-за голенищ выступают войлочные чулки, тоже отороченные черным бархатом. Ему лет около тридцати. Он коренаст, круглолиц и курнос. Клинышком торчит холеная бородка. В косо посаженных, заплывших и кочующих его глазках, в постоянно пасупленных бровях — барское презрение и запасная жестокость. А в брезгливо распушенных губах нетрудно угадать женолюба.

Это мирза Ахан, волостной управитель. Он позвращался из города, закончив там свои дела. Дела же были такие—внес в казну собранный в полости налог.

С волостным ехал, как водится, любимый слуга и приспешник — Калтай. Мирза держал его в строгости, по Калтай был преданным псом и разбитным шутом; конечно, вороват, зато шустр, оборотист и особенно полезен в

ночных похождениях. Мирза привык ждать от него неожиданно приятных услуг.

За день пути Ахан не проронил ни слова, и можно было подумать, что он озабочен и отягощен не иначе, как народными судьбами, поскольку он голова волости. Но Калтай хорошо знал, в каких волостях витают мысли господина и что это за мысли. Воображает, как он... с бабой, той или другой, и так целый день. Упаси боже его потревожить. Огреет плетью, выкинет из саней.

К вечеру, у Аркалыка, мирза стал зябнуть на ветру, оживился, заворочался. Калтай подхлестнул вожжами коней, говоря:

— Наверно, по сей день на Кушикпае горит оспа, если он так дует и дует...

Ахан оскалился бесзвучно как лиса. Не угодил!  
• На отлогом пригорке вдали показались две могилы, и путники, подняв руки, скороговоркой пробормотали молитву,

Могилы свежие, песок вокруг еще не потемнел, но покрыт пятнами снега, похожими на оспины. Ветер с Аркалыка дул со злым посвистом, словно рассерженный тем, что видел на этом месте. Минует, может быть, одна ночь, и ветер упрячет под белым саваном песчаные бугорки — последнюю память о людях, которые под ними пробегены, — и следа не останется.

Через полверсты завиднелась одинокая зимовка. Она казалась заброшенной, необитае-

мой, вросла в землю, увязла в сугробе и мало чем отличалась от могил. Крыша обветшала, углы обвалились, снег прикрывал прорехи. Лишь узкая тропка была протоптана к черным стенам зимовки, — в ней жили...

Калтай, загадочно крикнув, направил упряжку к зимовке.

Вблизи она выглядела еще страшней. Над скотным двором зияла дыра, над дырой вихрился снег, подобно клубам дыма. За поваленной загородкой у обдерганной скирды сена понуро стояли тощий годовалый теленок и барашек с нашлепками снега на спинах. Дрожь охватывала при мысли, какое злосчастье облюбовало этот дом!

Соскочив с саней и стряхивая снег с чекменя, Ахан проговорил сквозь зубы:

— Куда ты меня привез? Тут, наверно, ни сесть, ни лечь... Неужели не мог найти жилища поприличней?

Калтай, распрягая коней, ответил с ухмылкой:

— Потерпи... Увидишь, где ляжешь...

Мирза приосанился, насколько позволял его куцый рост и вдавленный нос. Калтай церемонно взял его под руку. Пригнувшись, они ступили под дырявую кровлю двора, нащупали в темноте набухшую, заиндевелую дверь и, спотыкаясь, ввалились в дом.



В доме было две комнаты. В передней слабо мерцало застекленное оконце величиной с ладонь, в сложенном из кирпичей тагане светились угли. Но здесь, по-видимому, не жили. Комната служила сенцами и кладовой. Глинобитные стены давно не белены и грязны, потолочные жерди закопчены дочерна, в углах себрынные разводы инея. Теснясь друг к другу, близ тагана топтались на привязи новорожденный ягненок и совсем жалкий телок с войлочным покрывалом на костлявой спине.

Задняя, жилая комната выглядела как будто чуть веселей. Бросалась в глаза большая печь, впрочем, тоже неказистая, словно отлакированная сажей, с выщербленным подом. Сбоку от печи возвышалась деревянная кровать; краска на ней облупилась, но старенькие, потрспанные одеяла и ветхие подушки были уложены так тщательно-аккуратно, что сердце щемило. У стены против двери на низкой подставке — два сундука, застланные серой кошмой. Вот и все имущество.

Стекло в оконце, надколотое крест-накрест и заклеенное полосками бумаги, словно бы дышало. При каждом порыве ветра стекло отдувалось струйками пара. И здесь было темно; слабый свет исходил от тлеющих в печи углей.

Кто же обитал в этом темном, жалком доме? Три женщины... Они сидели у печи, съезжившись, нахохленные, точно птицы. Одна из них

— дряхлая старуха, ей лет за восемьдесят, вто-рой около сорока, третья — девочка тринадца-ти лет. Это бабушка, ее сноха и внучка.

Старшая немощна, измождена, и все же лицо ее на редкость мужественно. У него неженский склад — высокий лоб, крупный нос. Из-под редких сивых бровей устало смотрели бесцветные глаза. Но в глубоких морщинах на обвисших щеках было не только горе, след мук и обид целой жизни, а еще и многолетнее безответное упорство бедняка, способное сдвинуть гору труда и вынести ношу, непосильную иному герою.

Лицо у снохи, напротив, пугливо настороженно. Яркие черные глаза ее странно неподвижны и уставлены в одну точку, словно у помешанной. Взгляд ее внушал невольную оторопь. Но она не помешана, она слепа.

И только младшая, Газиза, тоненькая и нежная, с круглым, слегка веснушчатым лицом, мила — от нее трудно оторвать взгляд. Она легка, быстра и изящна, как козочка. А детская печаль в ее робко опущенных глазах придает ей особую привлекательность. Пожалуй, в них и не печаль, а скорее мольба, наивная и трогательная, как убранная ее руками нищая постель.

Горе у этих троих, слабых, общее — они сиротели. Буря пронеслась над их головой, оставив у дома свежие могилы. Там, на песчаном пригорке, похоронены отец и брат Га-

зизы. Их унес тиф. Тщетно бабушка призывала духов предков, они не спасли кормильцев. А после похорон «соринка попала» в глаза матери. Слезы погасили в них свет.

— Боже, — вопрошала старуха с неистовой верой, без гнева, — за какие грехи?

Они и прежде бедствовали, одинокие, никому не нужные в бескрайней степи. Но сам Ку-шикпай в свое время был одинок... И по вечерам у нежаркой печи, нахохленные, точно птицы, женщины вспоминали и оплакивали ту жизнь, те райские дни, когда в семье их было пятеро...

И вот неожиданно-негаданно в доме появились гости, богатые, гладкие, в лисьих шапках, истинные баи.

Мать Газизы, тихонько толкнув ее локтем, спросила, что за люди. Девочка шепотом ответила:

— Не знаю... Незнакомые...

Гости, отряхнув у двери халаты, прошли выше, к сундукам, и уселись на почетном месте. Мирза Ахан прочел суру из Корана. Затем гости поздоровались с хозяевами, и старший из гостей обратился к старшей в доме:

— Воля божья! Дай вам бог изобилия и сытости... — намекая, что недурно бы растелить дастархан.

Женщины онемели при виде таких редкостных гостей, а придя в себя, приободрились и даже, как им самим казалось, повеселели. Заж-

гли керосиновую лампу, тоже с надколотым и заклеенным стеклом. Газиза расторопно и сноровисто приготовила чай. Все, что было в доме — кусочек масла, темные лепешки, — выставили на единственную драгоценную скатерть перед почетными гостями, мужчинами.

Старуха, как подобало бы аксакалу, повела с ними неторопливую беседу.

Ахан слушал ее, то и дело причмокивая пухлыми губами и невпопад кивая, между тем исподтишка неотрывно следил заплывшими глазками за Газизой.

Калтай любезно рассказал старухе городские и аульные новости, и она тоже чмокала и кивала.

Но после чая говорила больше старуха, а гости помалкивали. Видать, сам бог привел в ее дом всемогущего волостного. И она вела речь искусно и смело, как мог бы не всякий мужчина с такой важной птицей.

В голосе старухи, не по годам звучном и трепстном, были и гнев, и ласка, и горечь, и восторг, и боль, и надежда. Она сетовала на судьбу, но так, будто сказывала, будто выпевала старинное предание. И выражение ее лица менялось, как меняется вид замшелой скалы в ветреный день, под летучей тенью от облаков.

— Милый, — говорила она, — милый... Сам видишь, понимаешь, чем дышим. Я на пороге смерти, нет мочи жить, нет мочи помереть. Что я могу? Только молоть языком. Сноха ослепла,

ей поводырь нужен по этой жизни. Кто же нас кормит? На ком работа? На внучке. Одна при- няла на свои плечи мужское бремя. А плечи-то детские. Ты посмотри, ты пойми, милый!

К чему тебе это говорю? К тому, милый... чтобы билось у тебя сердце, когда, едучи мимо вспомнишь о нас. И не скудела бы твоя милость, когда встретишь таких, как мы. И не думал бы ты, как другие: что мне до них, они из чужого аула! И чтобы другие, на тебя глядя, устыди- лись, бессовестные... не срамили бы наш род уак... и память Кушикпая...

Ведь что за люди, милый! Недалекие, мелкие души. Истинно бабы... Когда отзываются? Когда их кличут, как псов. Кому угождают? Тому, кого боятся. Если какой молодец и покажется в нашем доме, так задрав нос, с гонором, воображая себя господином. И все, все горовят. изловчатся что-нибудь да утянуть, как воры. Еще не успела земля отлежаться на могилах моего сына и его сына, задумали родичи разделить сыновнее имущество и разобрать нас, женщин, по чужим домам. Понятно, мы долго не протянем. Одни женщины не живут. Вот эти лукавые и зарятся. Рвут за живое.

Взять хотя бы Смагула, деверя моего. Сын делил с ним последнее, почитал за самого близкого. Покрывал плохое, хвалил за хорошее, в люди сго вывел. И тот смотрел на сына, хвос-

том виляя, ожидая подачи. А как номер сынок, Смагул взял да и увел со двора нашу единственную яловую овцу. Зарезал он, видишь ли, барана в день похорон, — ну и чтобы не терпеть убытка... Сноха послала к нему человека со слезной жалобой. Что же ответил? Пусть, говорит, не строит из себя хозяйку и поменьше голосит по мужу. Вон как! Ползала вошь по копыту, вползла на голову.

Был бы жив сын, господи... разве они посме- ли бы? У него в доме всегда горел очаг, а в бедном котле варилась радость. Каким был благонравным, совестливым! Пусть земля тебе будет пухом, дитя мое... Из-за этих негодников, не стоящих его ногтя, он и погиб, бедняга. Ты послушай, милый.

Есть у моего деверя сын зовут Дюсеном, прозывают Болтуном. У него одно пристрастие — бабьи сплетни. В жизни дельного слова не сказал, доброго дела не сделал. К тому же скряга, каких свет не видел. Удавится, но не угостит. Когда в доме гость, у Болтуна траур. Жену со света сживет, если в этакый день, упаси бог, она сварит мясо. Скулит, плачется, что она разоряет его. Послушаешь — убежишь, плюя себс за ворот...

Как-то поздней оссню, не знаю уж каким ветром, занесло к Болтуну шалого конокрада из Шубарадыра, рода тобыкты. Болтун и отличился: стал преред ним на пороге. Выгнал человека в буранную ночь. Нечем, мол, тебя кор-

мить, иегде уложить! Известно, каковы тобыктинцы, их род богом обласкан, они нас, уаковцев, за людей не считают. Мог ли

тобыктынец вытерпеть такую обиду? Нагрянул в ту же ночь и разгромил весь двор Болтуна, угнал полдесятка жирных баранов и двух рабочих лошадей.

Думаешь, кинулся хозяин в погоню? Как бы не так. Побоялся, что лишится последнего коня под собой. На другой день припелся с поклоном к моему сыну. «Тебя, говорит, тобыктынцы хорошо знают, тебя одного уважают, твоего слова послушаются. Неужто допустишь грабеж?»

Конечно, мой сын его поругал. «Не помним за тобой поступка, угодного богу. При кухне, при жене ты герой. Пожалел толику мяса человеку... а он для тебя важней волостного... (Ахан холодно усмехнулся.) Сторицей тебе воздал бы, сторицей наказал. Ни силы, ни ума, грызешься с каждым проезжим. Думаешь, этим возвысишься? Тебе ли жить у Аркалыка, где Кушикпай жил! И у меня чего просишь? Просить у человека, чего он не может, — значит, позорить человека!» Вот как он его бранил, милый.

Дюсен-Болтун и голову повесил. «Кроме тебя, говорит, просить некого».

Собрался сынок и поехал выручать добро. Почитай, дней двадцать обивал пороги у тобыктынских аксакалов. Вор-то был из богатого спе-

сивого аула. Их аксакалы так порешили, чтобы Дюсен засватал свою девятилетнюю дочь за жениха из рода тобыкты. Мой сын дал согласие, поручился за Болтуна и вернулся со всем угнанным скотом. Теперь Болтун с тем вором кровные сваты, породнились! А сын мей, на ту беду, занемог в дороге. Как вернулся, слег. И не поднялся, кормилец. Сам ушел невозвратно и младшенького своего увел, последнюю нашу надежду. Тут-то его и отблагодарили: отобрали у нас яловую овцу и голосить не велели. Да тем еще не кончилось...

За день до своей смерти сын взял в руки бумагу, карандаш и написал, глядя богу в очи, что кому должен, а что ему должны. Читать-писать он умел, как мулла, с детства. И скажу: не лю- бил сидеть сложа руки. Умел подсобить кузнецу в ремесле, купцу в торговле, а при случае костоправу и лекарю. Половину его имущества я истратила на погребение и на уплату долгов, чтобы они не легли ему на душу. До копеечки отдала. Но надо же тому быть: оказался у сына долг, не записанный на той бумаге... И какой долг! Считай, примерно, в три головы скота. Все едино, что последнее отдать да разбрестись по миру. Нож в спину. А он, не записанный-то, проходу не дает, приспичило содрать с голых шкуру. Спросишь, кто такой? Богатей, милый, Курносый Марден из рода то- быкты.



(Мирза Ахан, сам безобразно курносый, скривился и оскалился. Калтай едва не прыснул Но старуха сочла, что волостной гневается на тобыктинца.)

Я не отрекаюсь. Раз сын ему обещался, я сыну верю. Только дал бы осмотреться да выпросить-вымолить у тех, кто сыну должен. Мы— со всем нашим желаньем... И, может, мы уговорили бы его кабы не Дюсен-Болтун. Чихнуть не успели, как он за нас все обмозговал да обстряпал.

Сообразил скупердяй, что Марден своего не упустит. Еще, глядишь, расчувствуется, по- жалест нас, сырых, а спросит с близких родичей, которые позажиточнее. Попробуй ему не отдай! Пострадаешь своим животом... И что же Болтун удумал? Милый мой, выговорить жутко, язык не поворачивается. И ведь всех, право, всех на свою сторону повернул. Мышкуто распорогъ — кошке забава. Чего хотят? Залить слезами Газизу, зрачок моих глаз.

В нынешнем году помсрла жена у Мардена. Овдовел курносый.

А чем Газиза не жена? Чем плоха? Вот как хороша! Сам видишь, милый, сам понимаешь...

Ахан и Калтай мельком переглянулись. Они лежали, опершись на локти, изредка побряки- вая, похмыкивая, и лица у обоих были озабо- ченные и вроде бы расстроенные. Ахан распу-

стил пухлые маслянистые губы, точно у него была одышка.

— Не вытерпела я. Разругала, прокляла этих негодников зловредных. Сердце зашлось: не знаю, как не разорвалось. Поплакали, потужили, богу помолились... Что нам еще оставалось? Но уж третий день пошел, а, говорят, курносый еще не уехал. Гостит у дорогих сватов. И теперь жена Болтуна сводничает, пристаёт к девочке. До чего же усердствует, подлая! «Ты, говорит, бессердечная. Не жалеешь своих матерей, ни зрячую, ни слепую... Где тебе справиться с хозяйством, как мог бы мужчина. А муж — он опора и тебе, и твоим матерям. Выйдешь за богатого — забудешь, как плачут, как голодают». Вот до чего хитра, собака. Обманом готова отправить Газизу с тем вдовцом на крупе его коня.

Огдать свое дитя за какого-то курногого! В чужой род... Милый, надо тебе знать: мы прямые потомки старших предков своего аула. Наш дом — дом старших в ауле. Может, в моем сыне и в его сыне текла кровь самого Кушикпая! А Кушикпай, — поверь, милый, и сын это говорил, — еще поднимется, рябой от оспы... (Голос старухи впервые осекся, лицо было величаво.) Да что этим выродкам! И не бояться, что дух моего сына разгневается, покарает. У них расчет: мало того — не поступиться, — еще разжиться на нашей беде. Ненасытные

глотки. Думают, сбегрят сиротку Газизу — и завладеют нашим скотом да домом. Не мытьем, так катаньем. Сами попросимся под их руку. А они уж нас проводят живьем в могилу...

Правду говорят: самый худой человек зарится на своего ближнего. Такой ли ныне тихий, безобидный этот Болтун, а жена его — с Газизой ангел. И ведь Газиза поплачет, поплачет, нет-нет да и прислушается к той сводне... Не понимает, маленькая, людского коварства. Господи! Помереть... Пора мне. А не могу. Не заслужила я последнего покоя. Не испила еще своей доли. Должна жить... Прости, милый, на глупом слове.

...Старуха, кажется, закончила свой горестный, бедняцкий сказ. Она сморкалась, утирала рукавом глаза. Но слез не было. Давно все вытекли.

Плакала за ее спиной сноха, беспокойно прислушиваясь и словно бы ища страшными сумасшедшими глазами гостей.

Мирза Ахан, морщась, поживаясь, словно у него чесалась спина, пробормотал несколько слов. Но он был не любитель и не знаток таких слов, ему было неловко неудобно даже неприлично их выговаривать. Старуха и не расслышала, что он ей сказал. Поняла только, что господин раздражен, раздосадован, и встревожилась: не утомила ли она его?

Волостной слушал ее, однако, не перебивая, не торопя. И на Газизу смотрел со вниманием и как будто бы с сочувствием. Ну и его не следует торопить. Наверно, он наслушался в волости просьб и жалоб, ему не в диковинку. Потому он и не спешит обещать, обнадеживать. Благо, что уважил, — выслушал терпелива

Старуха была довольна...

Она думала о будущем и не видела в нем просвета. Спину ее сгибали годы и привычная покорность судьбе. Сердце холодело от неосознанного недоброго предчувствия. Но во всем ее облике была спокойная сдержанность, ни тени робости и суеты. Бессильная и неутомимая, она была красива, как старый помовой двужильный конь, от которого шарахается сама смерть.

Газиза приготовила вкуснос душистое мяса подала на единственном в доме блюде. Так велела бабушка. Последний кусок мяса. Гости принялись есть его с охотой, и бабушка, довольная, смотрела, как они его едят, неприметно глядя слюну, обтирая рот сморщенной бестелесной ладошкой.

Милая мудрая бабушка. Она не видела того что видела Газиза. Она не чувствовала того что чувствовала девочка, а с ней, по-видимому, и ее незрячая мать. Несколько раз мать подзывала Газизу, брала ее за руку и держала, ни слова не говоря, тихо вздрагивая. Разве гости слуша-

ли? Ой, непохоже... Вряд ли они поняли, что сделал с ними Смагул и что собирается сделать Дюсен.

Старший гость словно ощупывал настырным жадным взглядом Газизу, да так, чтобы этого не заметила бабушка. И все время Газизе казалось, что он хочет сказать ей глазами что-то тайное, нехорошее, и говорит... и ей было стыдно и противно это видеть и понимать. А младший гость исподтишка то и дело показывал ей глазами, бровями на старшего, как бы говоря: замечай, кто на тебя смотрит! И дергался, вертелся на локте, когда она отворачивалась или опускала глаза.

Дсвочка смущенно, испуганно кланялась, уходила в другую комнату, стояла там в темноте и дрожала.

Гости доели мясо, обтерли губы, побрякали, показывая, что сыты. Стали готовиться ко сну. Газиза разобрала постель. Гости вышли во двор.

Старуха, озабоченно и почтительно посмотрев им вслед, сказала внучке:

— Светик... Их лошадям надо сена. Возьми лампу, покажи, где взять.

Девочке боязно было идти из дома, и она промолчала, будто не расслышала. Сено во дворе найти просто... Но старуха повторила:

— Выйди, выйди, доченька. Подумают, что мы невежи. Не поленись, окажи уваженье.

Газиза подошла к матери, та нащупала ее руку, подержала и отпустила. Девочка взяла лампу и вышла.

Тем временем Ахан и Калтай шептались во дворе, топчась около своих лошадей.

— Девка ни шута не смыслит еще... Выгнать тебя, пса...

| — Я ли не потрафил, хозяин... Девка — первый сорт...

Увидев Газизу с лампой, они замолчали и разошлись.

Газиза повела Калтая к сеновалу.

Вход на сеновал походил на нору. Под низеньким потолком на мятом сене, только пригнувшись, мог бы уместиться человек. Газиза с поклоном показала Калтаю на сено и подняла лампу, чтобы ему было видней.

Калтай, ухмыляясь, подмигивая, уткнул руки и бока. Затем он склонился к уху девочки и гнусаво сказал ей, что дело-то, красавица, не в сене, а кое в чем ином. Наш конь не по тому сену наголодался.

Газиза отскочила от него, чуть не уронив лампу. Она была испугана и втайне польщена. Никто из старших никогда не говорил с ней так заискивающе. Потом она догадалась, что этот господский раб, конечно, подшучивает над ней, и вскрикнула:

— Думаете, я не понимаю? Все ваши козни... Идите вы отсюда! Мы тоже не позволим над собой

насмехаться... — Поставила лампу на землю, припорошеиную снегом, и побежала к дому.

— Эй, эй, постой, что скажу... — дурашливо забубнил Калтай ей вслед громким шепотом. Она не обернулась.

Но у двери в дом она столкнулась с Аханом.

Он облапил девочку, легко подхватил на руки и понес к норе, ведущей на сеновал. Она не успела открыть рта, как он залепил его жирными губами.

Калтай быстро нагнулся и задул лампу. Красноватый огонек мигнул и погас. Прижав лампу к груди, Калтай, крадучись, на носках, словно приплясывая, пошел в сторону, к лошадям.

В крошечной темноте он слышал приглушенные крики и плач. И посмеивался, похрюкивал в кулак. Затем он вышел со двора за ворота — размяться.

Мрак окутывал мир. Выл ветер. Колючий снег длинными плетями хлестал землю. Промерзшая земля глухо потрескивала. С незримых в ночи откосов Аркалька катился не то каменный гул, не то звериный рык, наводивший ужас.

Калтай попятился назад, к воротам.

Здесь его нашел Ахан. Мирза был разгорячен, не запахивал халата и громко, самодовольно пыхтел. Они постояли с минуту рядом и пошли в дом, не проронив ни слова. Мирза Ахан лег спать раньше всех. Он расположился на постели, у печи...

Газиза не помнила, сколько времени пролежала на сеновале, бесчувственная, с помутненным рассудком.

Очнулась она от холода. Ее знобило. Но еще долго она не приходила в себя и не сознавала, что с ней произошло. Лишь инстинктивно старалась укрыть себя клоками сена.

Потом она вспомнила... и невнятный вопль захлебнулся в ее сдавленном горле. Она не смогла даже ощупать себя. Тупая боль, не испытанное прежде гадливое ощущение сковывали ее. У нее не было сил встать. Не было воли броситься к своим матерям, заливаясь слезами. Показать им? Бабушке... матери... людям? Они плюнут на нее, проклянут! Вспомнят отца... Она больше не Газиза, не светик, не доченька и не одно-единственное наше утешенье.

Внезапно ей пришло в голову, что бабушка может выйти и отыскать ее. «Боже, помоги». С протяжным стоном она поднялась и на миг застыла в страхе, что услышат ее стон. Вылезла из ловушки сеновала и, пошатываясь, стуча зубами, пошла вон со двора. Ветер толкнул ее в спину, подстегнул и ходко погнал прочь, в бурную степь. Там ее не найдут. Там не увидят.

Иди, иди,—гудел ветер ей в уши. Тебя не догонят. Иди, маленькая, гордая дочь совестливого отца, правнучка строптивного Кушикпая, Иди от своих горестей, несчастий и бед, от по-



зора, муки, стыда, от пожизненного обмана. О чем тебе еще мечтать, о чем грезить? Ты и не умеешь мечтать и грезить. Ты обучена лишь плакать потихоньку от лютой обиды. А сейчас и того не можешь. Такова твоя доля. Она с тобой, она тебя ведет. Она записана на твоём лбу. Иди, не отставай.

Ветер выдул из тела Газизы боль, а из души страх. Но холод опутывал ей ноги, снег слепил. И слушая, как жутко и грозно ревет и грохочет кто-то на Аркалыке, может, буран, а может, дух Кушикпая, она думала только о том, чтобы дойти до могил... Дойти и упасть, и обнять их. И пусть она тоже никому ничего не будет должна, как ее отец.

Мирза Ахан в ту минуту лежал в теплой постели, под ватным одеялом. Однако ему не спалось. Мирзе было не по себе.

Пора бы уж этой... визгливой... прийти с сеновала, приведя себя в надлежащий порядок. Она не шла.

Женщины зашептались в углу, старуха собралась идти во двор. Ахан остановил ее и послал Калтая. Тот вернулся с зажженной лампой и поставил ее на выступ печи. Женщины бросились к нему. Он недоуменно спросил:

— Разве не пришла?

Женщины всполошились, заметались. Калтай, смекнув, что дело-то оборачивается совсем скверно, принялся объяснять старухе, как оно было:

— Взял я у нее сено. Думаю: время поить лошадей. Спрашиваю: где колодец? Пошла она со мной... Выходим со двора — буран, зги не видать, свищет. А она не робка у вас! Довела меня до самого колодца. Я, конечно, скорей посылаю ее назад. Думаю, застудится ваше дитя, на мне будет грех... Неужели заблудилась?

Женщины заголосили:

— Солнышко наше! Замерзнет, господи! О боже, что еще посылаешь на наши головы?

Старуха, взяв палку, одеваясь на ходу, поплелась к двери. Сноха на ощупь пошла следом.

Ахан высунул из-под одеяла разругавшееся лицо и крикнул Калтаю:

— Дурак! Ротозей! Зажги наш фонарь, беги, подай голос, поищи... Живей поворачивайся! Скотина...

Выйдя за ворота, стали звать Газизу в три голоса. Женщины надрывались, крича. По разве перекричишь буран? Снежный вихрь валил с ног, не давал открыть ни глаз, ни рта.

Старуха взмолилась: ! — О духи, не оставьте ее, покажите ей дорогу! Принесу вам в жертву голову бело-рыжего барана!

Слепая также молилась, став на колени.

Калтай вывел со двора коня, вскочил на него верхом и поскакал в степь, крича и размахивая фонарем. И всадник, и конь, и фонарь исчезли в белой мгле бурана тотчас. Тотчас заглох и голос.

Женщины остались ждать, причитая.

Калтай вернулся не скоро. Вернулся один с погасшим фонарем. Конь под Калтаем хрипел. Хрипел и Калтай:

— Сам заблудился... Еле сыскал вас... И не сыскал бы, если б не орали... Нет ее нигде! Шайтан унес!

До утра женщины ждали ее. Много раз они выходили наружу, звали, плакали, молили бога. Но бог не внял их мольбам.

К утру буран ослабел. Еще до рассвета мирза Ахан велел запрягать. Он плохо спал и был злее шайтана. Голова трещала от бабьего скулежа. И чуть только забрезжило в степи, господин сел в сани и толкнул слугу в бок дорогой плетеной камчой с серебряным ободком, чтобы погонял.

Газиру нашли около полудня. Она дошла до могил и лежала между ними ничком. Одежда на ней была изорвана, как будто ее трепала со-бака. На ногах выше колен запеклась и уже выцвела на морозе кровь. А слегка веснушчатое лицо ее было ясно, ни следа страданий у рта и между бровей. Лицо было невинно и чисто, как у спящего ребенка. Она спала спокойно, крепко, и ей не снилось то, как она жила.

## СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ

Большой овраг близ Черного холма безлюден, но хорошо извеетен пастухам окрестных аулов. Из этого оврага нередко приходит беда.

Черный холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют — на них раскрылись почки. Овраг сплошь зарос шиповником. Под его колючим пышным ковром скрыты волчьи норы.

Прохладный майский ветер порывами задувает из оврага, далеко разнося запах молодых трав и дикого лука. Кусты шевелятся и угрюмо, сухо шелестят, словно перешептываясь.

Поздней весной в овраг к старым норам пришли волк и волчица. Старые норы размыло полой водой, в них мог бы свободно влезть человек. Волки выкопали поблизости новую, более тесную нору и соединили ее со старыми узкими темными лазами.

Волчьи лапы вскоре утоптали свеженарытую землю. Белесая шкура волчицы не успела обляпать, когда в логове появились дымчато-серые волчата.

Тихим утром волчица лежала на солнцепеке, под высокими метелками конского щавеля. Здесь было безветренно, жарко, ее разморило. Она дремала, изредка приоткрывая мутный глаз. Бока у нее опали, соски набухли молоком. Кожа на спине нервно подергивалась, соски непрерывно вздрагивали.

Слабый хруст донесся из-за кустов. Волчица вскочила, взметнув с земли летучие клочья белой шерсти, и оскалилась, глухо ворча. Волчата барахтались у ее ног.

И тотчас, перелетев через ветвистую стенку кустов, перед волчицей плюхнулась туша ягненка. Следом бесшумно высочил крупный, тяжелый волк с низко опущенным хвостом. Роняя с морды красноватую пену, он обнюхал волчицу, а она жадно лизнула его в окровавленную скулу.

Ягненок был еще жив. Волк и волчица набросились на него и в одну минуту разорвали на части. Две белозубые прожорливые пасти большими кусками глотали легкое, нежное мясо. Зеленые глаза злобно горели.

Сожрав ягненка без остатка, волк и волчица повалялись в сочной пахучей траве и растянулись на ней во весь рост. Потом поочередно стали отрыгивать проглоченное мясо.

Волчата один за другим подползли к мясу и, урча, толкаясь, стали его трепать. Только двое,

родившиеся последними, были еще слепы. Волчица подтащила их к себе и положила около сосков.

На другой день, когда солнце стояло в зените, волчица издалека почуяла стойкий, густой конский запах. Быстро затолкав волчат в нору, она скрылась в кустах.

Послышались людские голоса, конский топот. Люди съехались у самого логова, спрыгнули с коней. О землю дробно застучали длинные пастушьи дубины.

Волчица стояла в шиповнике на крутом откосе оврага, вывалив из оскаленной пасти язык. Она все видела.

Набрасывая на головы, на шеи волчатам крепкие ременные путы, двуногие вытаскивали их одного за другим из темной норы. Пятерых тут же прикончили. Одному перебили задние лапы и бросили около обгрызанной головы ягненка. Волчонок будет ползать, скулить, и волки унесут его и надолго уйдут из этих мест. А самого маленького из выводка люди взяли с собой. Стих в овраге конский топот. Матерый черногорбый волк и белая волчица с двух сторон подошли к лежащему пластом волчонку и свирепо оскалились на него, а затем друг на друга. Волчица схватила волчонка и скользнула

вверх по оврагу. Волк высокими, летучими прыжками понесся за ней.

Логово опустело.

Жил в ауле мальчик по имени Курмаш. Ему и достался слепой волчонок. Старшие говорили: серый слепым попал к людям, — может быть, он приживется в ауле.

Курмаш не расставался с ним; приготовил для него чистую плоску, мягкий кожаный ошейник.

Дня через два волчонок открыл глаза, но из юрты не высовывался — снаружи доносился лай и жутко пахло псиной. На ночь Курмаш брал волчонка к себе под одеяло. Ради него мальчик ложился теперь спать врозь со старой бабушкой, которую любил больше всех людей на свете.

Она одна не одобряла его привязанности к слабому, прозрачно-серому зверьку с острыми, точно колючки, зубами.

— Он еще не прозрел, когда у него выросли клыки,— говорила бабушка.— Не успеет встать на ноги — прижмет к затылку уши.

И мальчик сердился на нее.

К середине лета волчонок подрост, окреп и ничем не отличался от аульных щенков, своих однолетков. Будь он полохматей, походил бы на маленького волкодава. Но жизнь в ауле была для него неволей. Пастушьи псы не хотели с

ним примириться, как и старая бабушка. Рычащие, ощеренные пасти встречали его всякий раз, когда он отваживался показаться из юрты.

Курмаш заступался за него, и верные сторожевые псы отходили от мальчика, обиженно огрызаясь. А в юрте волчонку было тесно, душно и скучно. Ему хотелось в степь, в высокие многоцветные травы, в неизведанный простор.

Однажды рослый черно-пегий пес из Большой юрты подстерег, когда мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, повалил и долго мял тяжелыми клыками. Подоспели другие псы и с упоенным лаем принялись хватать серого за ноги и за бока. Прибежали дети и взрослые, едва отбили волчонка. Потрепанный, искусанный, он отполз к юрте, сел к ней спиной и беззвучно оскалил белозубую пасть. — Ишь какой немой... Гордый! — удивились мужчины. — Щенок бы сейчас своим визгом землю просверлил.

А женщины сказали:

— Ворюга! Потому и немой...

И это было верно. Даже Курмаша изумляла и тревожила прожорливость волчонка. Мальчик баловал, кормил его безотказно, намного сытнее, чем собак. А волчонок, казалось,



никогда не мог насытиться. Аульные псы ходили поджарые, они были неприхотливы. У волчонка туго налились бока и грудь, заметно рос жирный загривок. Но он был постоянно голоден и рыскал по юрте, поводя черным влажным носом.

При людях он не притрагивался к еде, отворачивал от нее морду. Но стоило человеку отойти, как он мгновенно проглатывал все, что ему положили, и тоскливо смотрел на пустую плошку, будто ничего не ел. Стоило людям заглядеться, как он жадно хватал все, что было плохо положено и попалось ему на зуб. Утаскивал вареное хозяйское мясо, лакал простоквашу из казана, будто она поставлена для него, грыз свежие шкуры, подвешенные сушиться на остов юрты.

Частснько он попадался, и его колотили безжалостно. Он испытал и удары скалкой, от которых гудело в голове, и острую, жгучую боль от тонко свистящей плетки. Ловко увертываясь, он молча скалил белые клыки. Не было случая, чтобы он, побитый, подал голос.

А между тем в ауле стали поговаривать, что по ночам он проскальзывает, не замеченный собаками, в кошары и обнюхивает курдюки у ягнят, и овцы его боятся. Кто-то видел, как он украдкой убежал в степь.

Курмаш не слушал аульных пересудов. Но как ни старался мальчик, как ни учил своего серого, тот никак не мог понять, чем хуже еда, которую он крал, той, что давали ему хозяева.

Курмаша он не опасался, ел при нем. Когда мальчик протягивал ему мясо, волчонок не брал, а выхватывал кусок из его рук. Но Курмаш ни разу не поднял на него палки, которой отгонял псов. Мальчик любовался волчком, его сумрачным независимым взглядом исподлобья, его слегка темнеющим грозным загровкой, его растущей день ото дня упрямой силой.

И назвал Курмаш своего любимца Коксерек, что означает Серый Лютый.

К исходу лета Серый Лютый стал уже мало похож на аульных псов. Голенастый, как теленок, крутогорбый, как бык, он перерос их всех. Хвоста он не поднимал по-собачьи и оттого казался еще рослей, а загровка и спина его напоминали натянутый лук.

Теперь он не убегал от черно-пегого кобеля, и собаки перестали задирать его. Едва он поворачивал к ним лобастую каменно-серую морду и сморщивал верхнюю губу, те кидались врассыпную. Обычно собаки, завидев его, держались сворой. И он и они всегда были настороже.

Никто не замечал, чтобы волк резвился в ауле. Не играл он и с Курмашем. Кличку свою

помнил хорошо и прибегал, когда его звали Курмаш или старая бабушка, но бежал неторопливо, ленивой трусцой и не махал хвостом.

Собак он не трогал, не оборачивался на их лай, не гнался за убежавшими. Чаще всего он лежал в тени юрты, выпрямив острые уши, и угрюмо щурил зеленые глаза.

Курмаш гордился молчаливым зеленоглазым зверем и весело смеялся, когда соседские собаки, визжа от страха, пускались от него наутек. По правде сказать, мальчик и сам подчас побаивался Серого Лютого, но ни за что не признался бы в том даже старой милой бабушке.

Хозяин черно-пегого пса хвастался:

— Что ваш серый, вислохвостый! Мой черно-пегий враз его скрутит, только дай! Давно бы придушил, если б не отгоняли.

Как-то проходя, пробы ради, он науськал черно-пегого. Пес, не колеблясь, с азартным лаем бросился на волка, ударил его клыками в плечо. Метил он в шею, но промазал. В последний миг волк увернулся и, прежде чем пес успел отскочить, молча метнулся, в прыжке взял его за загривок и швырнул на землю. Огромный пес покатился с пригорка, точно беспомощная жирная овца. Волк тоже промахнулся, иначе он вырвал бы у пса горло.

Выбежал Курмаш и отозвал Серого Лютого, а хозяин отогнал своего черно-пегого.

Поздним вечером два волка неожиданно напали на овец, которые паслись неподалеку от аула.

Чабан поднял отчаянный крик, свист. Прискакали на конях из аула подростки и старшие. С оглушительным лаем дружной сворой примчались на выручку все аульные псы, а с ними и Серый Лютый.

Волки ушли в степь. За ними погнались — не догнали.

На ближних холмах всадники и собаки остановились. Вдали по высокому гребню Черного холма, в тусклом, неясном свете скользили серые тени.

— Раненько они нынче объявились,— сказал чабан.

И только Курмаш заметил, как по волчьим следам, почти касаясь мордой земли, бесшумно понесся Серый Лютый.

Мальчик отстал от людей и пеший бесстрашно пошел в темноту, к Черному холму. Долго ласково звал:

— Коксерек! Кок-се-рек...

Но Серый Лютый так и не пришел на его зов.

Волк появился в ауле ночью. Встав на виду у своей юрты, он неторопливо поскреб железными когтями сухую, утопанную землю,

взметая клубы пыли. Поднял голову к звездному небу и втянул в себя по-осеннему студеной воздух, жадно внюхиваясь в слабые дуновения со стороны Черного холма.

Днем Серого Лютого видели в ауле, а ночью он опять ушел в степь.

Пропадал трое суток. Вернулся отощавший, люто голодный, но по-прежнему угрюмый и без ошейника. Когда Курмаш окликнул его, он подошел, низко и словно бы угрожающе опустил голову. Мальчик обрадовался, обхватил его за короткую мускулистую шею. Волк вырвался, прижал к затылку уши, но даже бабушка не стала его бранить, и захлопотала, готовя еду.

Ел он страшно, и Курмаш отступил от него подальше.

— Ого! Сказывастся порода,— сказал Курмашу отец.— Глаза-то у зверя зеленые- презеленые, днем горят. Пора, сынок, пора содрать с него шкуру.

И мальчик задрожал, боясь, что теперь старшие не уступят ему, погубят его волка.

Но Серый Лютый словно понял, что говорят о нем. Едва люди отвернулись, он исчез. Никто не видел, когда он ушел из аула.

Много дней затем Курмаш напрасно искал его в зарослях чия,— с тоской, с угрозой. Тщетно! Минула ветренная осень, белой кошмой

покрыла степь суровая зима. Серый Лютый не возвращался.

До поздней осени он кормился зайчатинной далеко от родных мест, не брезговал и мышковать. Суслики были жирны, и он лакомился ими, как лиса. А по снегу голод пригнал его к людским зимовкам, овечьим загонам.

Теперь он пришел крадучись, как чужой. Шерсть поднималась на нем торчком, когда он видел людей.

Ночь за ночью он кружил, петлял по заснеженным холмам, оставляя на снегу летучий след пяток и когтей. Пар клубился у его слегка сморщенной серой морды. Он останавливался с подветренной стороны, и в нос ему бил густой сытный запах хлеба и скота, а в уши — собачий беспокойный лай. Волк свирепо клацал клыками. Сейчас собаки так же чутки, как он голоден.

В глухой пуржистый час он попытался приблизиться к зимовке. Но бессонные псы словно знали, откуда он подойдет. Его встретила вся свора во главе с черно-пегим, прогнала.

Ветер стих, подморозило. Волк заплясал, приседая на задние лапы. Жесткий снежный наст обжигал ему пятки, черные уголки пасти мерзли, брюхо стянула голодная боль. Мелкой рысцой волк поднялся на холм. Снег искрился под сильным лунным светом. Серый Лютый

вскинул голову к небу и, застыв в судорожной, не испытанной прежде истоме, протяжно, уныло завыл.

Тотчас в ауле вскипел оголтелый собчий лай.

Серый Лютый не опускал головы. И вдруг издалека, с Черного холма, донесся невнятный, тоскливый отклик. Волк выпрямился, дрожа. Кто-то ему вторил, манил его. Он вслушался, повел носом и стремительно понесся на зов.

У схода в большой овраг он остановился, настороженный, вздрагивая от сильного озноба. С Черного холма к нему спускалась снежнобелая волчица.

Серый Лютый не подпустил ее к себе. Она подходила, он отскакивал, скаля зубы, прижимая уши. Но уйти он не мог. И, когда она пошла по его следу, вынюхивая его, а потом повернулась, жалобно повизгивая, и ткнулась теплым носом ему в пах, он не тронулся с места. Волчица тихо побежала прочь. Он догнал ее и лизнул в скулу.

Плечом к плечу они пустились вверх по оврагу, пролетели его насквозь и повернули к людскому жилью. По гребням холмов они за полчаса безостановочно, неумоимо продолжили гигантский полукруг двойного редкого следа, и только наст звонко похрустывал под их лапами. Затем, словно сговорясь, они так же рядом помчались вниз, к аулу.

Луна зашла. Ночь была на исходе. Серый Лютый и белая волчица вихрем пролетели аул, как большой овраг, и оба увидели, как от желтоватого сугроба у овчарни за ними метнулся вдогон длинношерстый кудлатый пес, увлекая за собой всю свору. Это был, конечно, черно-пегий.

Волки неслись от аула во весь мах. Черно-пегий не отставал, надрывисто, натужно лая. Свора за ним растягивалась, редела. И Серый Лютый умерил скок, злобно прислушиваясь к лаю,— пес разрывался от ярости, от гнева.

Близ лощины свора остановилась, остановился и черно-пегий кобель и побежал обратно, к своре. Волчица первая кинулась за ним.

В безлюдной степи собаке трудно убежать от волка. Но черно-пегий не струсил, хотя остался один. Он жил для того, чтобы драться с волком, и, не колеблясь, сцепился с волчицей, когда на него налетел Серый Лютый и подмял под себя. Волчица с визгливым рычанием впила псу в горло.

Вскоре от огромного черно-пегого остались лишь хвост, обглоданная голова да редкие клочки шерсти. Даже окровавленный снег волки проглотили.

Нажравшись, они ушли к Черному холму и в овраге повалились на чистом снегу.



С той ночи они не разлучались. И пошла гулять по округе серая беда.

То тут, то там, близ Черного холма и далеко от него, волки задирали овец, резали коров и лошадей, валили верблюдов, губили лучших сторожевых псов и ускользали безнаказанно.

От аула к аулу ползла худая молва.

— Их целая стая, серых бесов, и все, точно оборотни, человека не боятся. Ничуть не боятся — вот что! Вожак у них матерый, с теленка ростом, до того лют, до того страховиден... Не бежит, даже когда человек подходит к нему на длину соила! Подойти-то боязно. Налетит стая с одной стороны, чабаны кидаются туда, собаки их травят, а тем временем вожак с другой стороны уносит на горбу овцу...

Подолгу волки не держались на одном месте. Сегодня их видели у Черного холма, а завтра — верстах в десяти, двадцати, тридцати южнее, восточнее. Известно: волка ноги кормят.

Степь в том краю холмистая, овражистая, обросла кустарником. Любо-дорого посмотреть на нее с Черного холма: точно море в бурю, она горбится высокими валами, кипит мохнатыми гребнями. В таких местах удобно волку, хлопотно пастуху. Легко подобраться невидимкой к стаду, к загону, легко подстеречь, отбить отставшую скотину. И трудно

выследить серого, невозможно предвидеть, откуда он выскочит неслышной дымчатой тенью. А снежной зимой и выследишь — не догонишь! Глубоки сугробы. Волк уходит целиной. Наст волка держит, а всадника нет: проваливается конь, не скачет — вспахивает снег.

Попробовали у большого оврага, где не раз находили волчьи норы, подбросить отравленное мясо, и покались. Разве оборотни возьмут отраву? Молодые аульные псынедоумки подобрали мясо у оврага и там же остались лежать. Волки не тронули и застывшие собачьи туши.

Сытной была для волков та зима. Серый Лютый все рос и рос, наливаясь каменным весом, но по-прежнему не мог утолить свою страшную жажду мяса и крови.

Лишь к весне как будто слегка приглож его голод, и в жилах у него ненадолго зажглась иная жажда.

Снег в степи рыхлел, темнел. На холмах появились рваные пятна проталин, оголялась рыжая вязкая земля.

Небывалая игривость обуяла Серого Лютого. На бегу он стал суетлив, ничемно кружил, метался около волчицы, как щенок. Она ложилась отдыхать, а он приплясывал близ нее, поднимая вихри искрящегося снега, дурашливо

прыгал через нее, толкал грудью, лапами, мордой. Она сердито огрызалась, а он хватал ее за шею и, подержав, отпускал. Иногда он подолгу трепал ее за шиворот, не давая вырваться. Она сварливо визжала, кусалась.

Потом она подобрела и стала чаще обнюхивать его и лизать.

Севернее Черного холма лежали обширные мелко-водные соленые озера. Берега их тесно поросли чием и камышом. Места дикие — не зря над зарослями постоянно висит птичий грай. Сюда белая волчица увсла весной, когда буйно зазеленели бсрега озер, Серого Лютого.

Теперь он охотился далеко от родных краев. А волчица не покидала логова и кормилась птичьими яйцами, подобранными в камышах.

Раз он принес ей бараний курдюк, но она не встретила его у норы, как обычно. Он беспокойно заскреб лапами землю, и она вылезла из норы обессиленная, едва волоча ноги.

Из норы исходил сильный незнакомый запах. Серый Лютый грозно ошетинился, сунул в нору оскаленную морду и вытащил зубами хлипкого, неказистого волчонка.

Волчица, слабо твякая, кинулась к нему, но не смогла ему помешать. Серый Лютый бил маленького слепого волчонка о землю, пока тот не превратился в бесформенный серый комок, потом с отвращением швырнул через себя.

Когда он обернулся к волчице, она лежала между ним и норой, и к ней подползли другие волчата, тыкались ей в соски.

Серый Лютый, угрюмо облизываясь, лег в стороне.

Волчица стала выходить с ним на охоту, но была егце неповоротлива, грузна и то и дело убегала к своему выводку. Нередко они возвращались в логово, не солоно хлебавши, ничего не добыв, и он алчно поглядывал на волчат, а она кусала его, гоня от норы.

Ранним апрельским утром, когда волчата уже прозрели, Серый Лютый и белая волчица бежали вдоль озера к своей лежке, она — впереди, не позволяя себя обогнать, он — вплотную за ее хвостом, и вдруг почувяли человека. Птицы тучей поднялись над гнездами, топотали кони, стучали о землю пастушьи дубины... Волки прятались в камышах, пока не стихло кругом. А подкравшись к логову, нашли в нем лишь одного волчонка с перебитыми лапами.

Несколько суток волчица неотступно бродила вокруг аула, куда люди увезли других ее волчат. Тщетно Серый Лютый подзывал ее. Она не шла за ним — и их заметили.

Подсохла, зацвела земля. Кони быстро набирали силу на сочных весенних травах. И в один теплый голубой день волки услышали за

собой шумную погоню. Трое всадников на резвых конях выгнали волков из большого оврага, что у Черного холма.

Серый Лютый летел как стрела. Еще в овраге волчица отстала от него. Соски у нее не успели затвердеть, и она была тяжела в беге. Сперва Серый Лютый вернулся к ней, побежал сзади, покусывая ее в бока, подгоняя. Она зарычала на него. Он оглянулся на конников и молча, стремительно ушел вперед.

У выхода из оврага он круто повернул и гибкими скачками, точно коза, взлетел вверх по скату оврага, заросшего колючим шиповником.

Серый Лютый скрылся в кустах, а белая волчица неслась напрямик по открытому месту, и всадники с гиком и улюлюканьем скакали за ней.

Ночью Серый Лютый, фыркая, осторожно потрусил по следу травли. В дальней ложине на сырой от росы траве он нашел пятно засохшей крови. Принюхался, лизнул его. Здесь лежала белая волчица, и здесь обрывался ее запах.

Серый Лютый сел и сидел, не двигаясь, напружинив выпуклую грудь, горбя бурый затылок, пока не взошла луна. А когда взошла луна, он завыл уныло, глухо.

Словно окаменев, Серый Лютый сидел в ложине до утра. Перед рассветом поднялся,

сударожно позевывая. Голод холодил ему брюхо.

Все лето он рыскал по степи один, нагоняя на стада и аулы страх. Не утихал ночной разбой, и пастухи проклинали свою долю. Как будто ходил у Черного холма, близ соленых озер и повсюду окрест один серый с бурым горбом, а за лето зарезал не меньше полусотни ягнят и телят! Бездонное было у него брюхо.

Дважды пускались за ним вдогон на свежих конях со сворой резвых собак, оба раза ему удавалось унести ноги. С таким тяжелым брюхом легок был на ногу, разбойник, и неутомим. Волк не убегал — улетал, срамя аульных удальцов.

Днем он прятался, отсыпался в темных дебревых зарослях камыша, на топких, сильно заболоченных озерах, а ночью ничто его не останавливало — ни крик человека, ни лай собак, ни гром и огонь ружейного выстрела. Зря тратили чабаны патрон за патроном, целя в серую тень, без толку посвистывали над отарами жаканы — волк, невредимый, возвращался, едва утихало эхо в ночном мраке.

За лето Серый Лютый разжирел. Плотная жесткая шерсть стояла на нем, как колючки на еже, но брюхо было поджато и не знало ни часу покоя.

Повадилса он ходить за косяками лошадей.

Подкравшись к сосунку, он хватал его за

короткий хвост и держал так, что тот не мог тронуться с места. Жеребенок вырывался изо всей мочи; волк внезапно выпускал его, и тот кубарем катился по земле. Волк бросался, и его клыки смыкались на горле жертвы.

Осень промелькнула короткая, ненастная, и вот опять завывли, замели многодневные, многоснежные бураны.

В морозную светлую ночь на голом гребне холма Серый Лютый неожиданно столкнулся с большой волчьей стаей. Взметая вихрь колючей снежной пыли, стая налетела на него и окружила. Серый Лютый оказался носом к носу с вожаком — громадным матерым зверем с дымящейся на морозе оскаленной пастью.

Но стая сразу поняла, что встретила не добычу, а хозяина здешних мест. Поджав толстый хвост, приседая, Серый Лютый свирепо клацал железными клыками. Он был вдвое моложе вожака, но не уступал ему ни в росте, ни в весе; ни у кого в стане не было таких крутых гладких боков.

Волчицы первые подошли и принялись обнюхивать Серого Лютого. Опасливо приблизились волки помоложе. Лишь вожаку он не позволил себя обнюхать, и тот тоже не подпустил его к себе. Прищельцы повалились на твердом сугробе, проглотали мерзлые комья

снега. Так же поступил Серый Лютый. И пошел со стаей рядом с вожак.

К утру заметелило. Серый Лютый привел стаю к табуну коней. Отбили кобылу-двухлетку, загнали ее в глубокий сугроб, и Серый Лютый свалил ее на снег, как некогда черно-пегого кобеля. Волки навалились на лошадь со всех сторон. Серый Лютый по привычке вцепился в лопатки и отскочил от тупого удара клыками в плечо. Около него, ощерясь, стоял вожак: Серый Лютый тронул его коронную часть добычи.

Однако драться в эту минуту было некогда |— лошадиная туша таяла, дымясь. Молодые волки вгрызлись в брюхо по уши. Волчицы терзали труп, толкаясь и рыча. Серый Лютый и вожак вернулись в тесный круг.

Над последней, задней ногой остались только они двое. Остальные с почтительного отдаления, положив головы на лапы, смотрели, как они рвут мясо, с хрустом мозжат лошадиные кости. Оба отошли одновременно, тяжело дыша, немирно косясь один на другого, вымазанные в крови до глаз.

Легли порознь в центре стаи. Волчицы кружили около Серого Лютого. Он не сводил зеленых глаз со старого вожака.

Еще несколько ночей они водили стаю вдвоем, держась голова к голове, и если один



уходил вперед на полшага, другой тотчас хватал его зубами за бок или за ногу.

А ночи выдались ясные, безветренные, голодные. В немом горле Серого Лютого клокотала ярость.

Волки шли вдоль яра, когда у них из-под ног сорвался заяц. Косой проскакал и прометался перед волчьими носами не менее версты, прежде чем его смяли. Серый Лютый и старый вожак одновременно схватили его и разорвали пополам. Стая далеко отстала от них.

Оба жадно проглотили свои куски и тут же бросились друг на друга. Веером полетели снежные комья, клочья шерсти. Дробный ляг клыков разнесся в тишине.

Двое матерых грызлись, встав на задние лапы, сцепившись передними, глубоко вскапывая под собой сугроб. На секунду они разошлись. Вожак рычал, он был не прочь покончить и на том. Но Серый Лютый изловчился и немо схватил его чуть пониже уха — собачий прием, так берут волкодавы. Согнул подмял под себя и мгновенно вгрызся в высокий могучий загорбок. Сжал клыки, как клещи, и сломал волку шею.

Старый вожак лежал боком на снегу, бессильно скаля пасть. Подоспела стая и с ходу, мгновенно разнесла его до костей. Волк лежачего не щадит — ни чужого, ни своего.

День и ночь не слезали табунщики с коней и не могли устеречь табуны. Такого страха, такого разбоя еще не знавали близ Черного холма. На глазах пастухов волки косили все живое.

Серый Лютый водил свою стаю от зимовки к зимовке с заката до рассвета. Волки быстро отъелись, отяжелели, но вожак не давал им подолгу спать. Он бил, кусал даже волчиц, а волчицы злобно подгоняли младших волков. Стая снималась с лежки, неслась по степи, точно лавина.

И был случай, когда серая шайка напала на человека. Одинокий путник ехал в санях по торной дороге. Редко волк отваживается подойти к такой дороге, пересечь ее, особенно ежели по ней едет человек. А Серый Лютый не долго колебался, прижал уши к затылку и погнался за санями.

Лошадь понесла. Стая настигла ее, завернула с дороги в сугроб. Сани увязли, лошадь провалилась по грудь, и волки серой грудой оседлали ее.

Путник, обезумев от страха, скатился с саней и кинулся бежать по глубокому снегу. Серый Лютый перепрыгнул через сани и короткими легкими скачками понесся за бегущим. Две матерые волчицы тотчас пустились вслед за вожаком.

Серый Лютый, словно играя и испытывая себя, сделал широкий круг и стал на пути человека. Волчицы остановились за спиной обреченного, беззащитного и все же неприкосновенного двуногого, выжидая. Тронет ли его серый атаман? Повалит ли на четверсньки человека?

Люди спасли его. С ближнего холма донесся гул и топот. По дороге галопом, пронзительно свистя, неслись вниз, в ложину, два всадника.

Серый Лютый сморщил верхнюю губу и, оглядываясь, все быстрее и быстрее пошел прочь по снежной целине. Стая снялась с растерзанной лошади и растаяла в сумеречной, взвихренной поземкой степи.

И еще раз Серый Лютый попробовал схватиться с человеком — в открытую.

Это случилось днем. Трескучий мороз сковал степь. Белесо-голубое небо затянуло искрящееся марево, сквозь которое угрюмо смотрело багровое, кровавое око солнца. Снега звенели.

Волки, горбясь, приседая и словно дымясь на морозе, подошли вплотную к аулу. И вдруг из-за окраинной зимовки вышел двугорбый верблюду, валко зашагал прямо на стаю. Между его горбами сидел человек, один человек, и голова его была обернута белым, а это — женский убор.

Серый Лютый насторожился.

Верблюд — не конь, а всадник на нем — не чабан, не табунщик. Собаки лаяли, не высовываясь из аула. Стая застыла, предвкушая легкую добычу. Однако верблюд поднял губастую голову и побежал на стаю ровной размашистой рысцей. Волки заметались, наскакивая друг на друга, и брызнули от него в степь. Станный верблюд! Куда он бежит? Почему не боится? И всадник странный — не кричит, не свищет, не размахивает руками.

Волки бежали без оглядки. Бежал и Серый Лютый. Верблюд остановился, шумно фыркая. Жгучий январский вегер шевелил на его боках грязно-бурые космы. Женщина сидела между его горбами не шевелясь, лишь платок на ее голове вздулся белым шаром.

Вся шерсть поднялась на Сером Лютом. Он стал как вкопанный, вытянул лобастую остроухую морду, приплюхиваясь.

Ничего особенного... Двуногий его не пугал, он сам пугал двуногих, едва успев вырасти, еще в ауле. А здесь, в открытой степи, он, серый, всех страшнее. Стая рассеялась, волки маячили далеко на холмах в сияющем морозном тумане. Серый Лютый остался. И, когда верблюд опять вскинул голову и пошел к нему, он неспешно затрусил к холмам, низко держа, словно бы волоча по снегу, хвост, заманивая всадника подальше от аула, поближе к стае.

Верблюд останавливался — тотчас садился на хвост и волк. Верблюд пускался рысью — рысил впереди него и волк. Расстояние между ними медленно сокращалось. Серый Лютый терпеливо, холодно примеривался.

Наконец аул скрылся за снежным косогором, а стая — вот она!

Серый Лютый выпрямился и поступил так же, как накануне с одиноким путником: скачками, играючи, понесся вокруг верблюда, отрезая ему путь в аул. Верблюд затоптался на месте, скрипуче заревел, и Серый Лютый видел, как на рев кинулась с холма разом осмелевшая стая.

Зато он не заметил, как меж верблюжьих горбов внезапно, неведь откуда, возникла, блеснув на солнце, гладкая черная палка с круглым немигающим глазом на конце.

И вот из безоблачного зимнего неба ударил гром. Раскатистое эхо запрыгало по окрестным холмам. Незримая свинцовая оса впилась волку в ляжку и прожгла ее насквозь. Впервые в жизни Серый Лютый подал голос. Яростно взвизгнув, он куснул себя в ляжку и полетел через голову кувырком, чего с ним тоже до тех пор не случалось.

Вскочив, Серый Лютый на трех ногах ошалело покатил прочь от ревевшего верблюда.

Озябшие человечьи руки не успели перезарядить ружье — волк скрылся в ложине. Длинная нитка ярко-красных капель протянулась вдоль его трехпалого следа.

Кое-как Серый Лютый доскакал до большого оврага у Черного холма и повалился на снег. Пробитая пулей ляжка горела, точно опаленная головешкой из костра. Волк стал зализывать рану снаружи и со стороны паха, ежеминутно вздрагивая и испуганно настораживая уши.

Стая ушла, теперь ее не вернешь в эти края. И хорошо, что она далеко и что молодые волки не понюхали его свежей крови, не видели его лежащим на красном снегу, — вот когда бы они с ним сквитались!

Не слышно было и погони. Станный верблюд не пошел по следу, но Серый Лютый боялся иного. Он ждал за собой собачьего лая и топота коней.

А люди замешкались, не сразу собрали свору. Собаки не шли из аула — они чуяли приближение леднящей затяжной метели.

Мороз не ослабевал, а ветер усилился. застонала степь. И повисли над степными просторами снежные хвосты от земли до неба.

Серый Лютый медленно поднялся. Оглядываясь, боком, на трех лапах, изредка судорожно подрыгивая четвертой, он поскакал к камышовым чащобам, на соленые озера.

Трое суток без передышки гудел стоголосый степной буран, и день не отличить было от ночи. Трое суток не высывался Серый Лютый из занесенных снегом камышей. Закопался в сугроб, угкнулся носом в хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг юрту.

Отошал серый, ослаб, но рана у него в паху, рваная, косая, затянулась, запеклась.

На четвертую ночь он выбрался из-под снега и, сильно прихрамывая, пошел в степь. На ходу размялся, хромота стала менее заметна, но боль не ослабевала.

Целую неделю он голодал. Искал падаль — не нашел. Лишь к концу недели повезло: наткнулся он на отставшую от табуна кобылу со стригуном, загрыз стригуна, лег рядом и жрал его всю ночь напролет, не отрываясь. Рыгал и жрал, рыгал и жрал, подбирая под свое раздувшееся брюхо затекавшую на морозе раненую лапу.

Прошла еще неделя. Ляжка у волка поджила и ныла реже. Он стал бегать резвее и осмслел. Его потянуло к Черному холму.

К вечеру он подошел к аулу, в котором вырос, и стал на гребне холма с вздыбленной от ушей до хвоста шерстью. Верблюда в ауле не видно. И собак не слышно — они с отарами и табунами в степи. Серый Лютый пустился рыскать по знакомым местам и тропам, поставив против ветра влажный нос.

Издали слабо и сладко пахнуло овцами. Серый Лютый сморщил губу. На горизонте, в желтоватом свете зари, маячила высокая фигура всадника. Маленький гурт овец теснился у ног коня. Чабан вел их к загону.

Волк бросился наперерез, прячась за буграми и косогороми. Выскочил, как всегда, стремительно, неожиданно, но чабан сразу же увидел его и вдруг закричал тонким, ребяческим голоском, отчаянным, но властным.

Серый Лютый резко остановился, приседая на хвост и вспахивая лапами снег. На коне сидел мальчик, подросток, с длинной, не по руке, пастушьей дубинкой.

Мальчик!.. Волк не боялся его.

Злобно ощерясь, Серый Лютый метнулся вбок, чтобы обойти маленького пастуха, и подобрался к жалобно блеющим и наседающим друг на друга овцам. Это блеяние, толкотня горячили волка. Перед ним была легкая и жирная добыча, мягкие кости, обильная кровь. Но мальчик изо всех сил забил коня пятками в бока, поднял над головой тяжелую, непослушную дубинку и бесстрашно поскакал прямо на волка.

Серый Лютый опять невольно повернул в сторону от сбившегося в кучу гурта. Мальчик кричал, не переставая. И что-то непонятное томило и пугало волка в мальчишеском крике. Волк бежал, мальчик гнался за ним, не



подпуская к овцам. Привстав на стременах, потрясая дубинкой, он вопил во все горло, захлебываясь:

— ... ок...ерек! ...ок...ерек! Волк шелкнул клыками и ускорил бег. Мальчик был ловким наездником и отчаянно понукал послушного коня, бил его дубинкой, но видел, что отстает. Серый Лютый уходил, и мальчик, размахнувшись, швырнул ему вслед дубинку, точно копье.

Она задела большую ногу волка округленным концом и покатила по обледеневшей земле, подскакивая и звеня. Серый Лютый свирепо схватил ее клыками и мгновенно переломил надвое. Затем повернулся и, прижав уши, сморщив губу, словно улыбаясь свирепой волчьей улыбкой, немо кинулся на мальчика. Прыгнул и рванул его за полу овчинного полушубка. Конь отпрянул в сторону с испуганным ржаньем, а мальчик вылетел из седла и ударился оземь, о наледь, облепленную пушистым снегом, спиной и затылком, так что шапка слетела с его головы и покатила по белому откосу.

Последнее, что видел мальчик, было знакомое ему волчье ухо, надорванное у виска в драке с собаками в дни, когда серый жил еще в ауле.

Мальчик был уже мертв, когда волк вихрем пронесся над ним и с ходу распорол ему изогнутым клыком щеку.

Ночью труп мальчика подобрали, унесли в аул и положили у очага в юрте.

Старая бабушка села у него в ногах.

— Жеребеночек мой,— приговаривала бабушка,— жеребеночек мой!..

И высохшие ее подслеповатые глаза не могли источить желанную слезу.

Тогда пришел черед охотника Хасена, знаменитого в тех краях, и его рыжевато-белой борзой.

Своего пса Хасен выменял в Семипалатинске на коня. На лбу у пса белела маленькая пролысина с четырьмя соразмерными лучиками, и оттого хозяин назвал его Белозвездный — Аккаска.

Об Аккаске ходила громкая молва, все знали его, и иные считали, что он происходит от легендарной, воспетой в песнях собаки батыра Богенбая из рода канжыгалы.

Пес был кровный, гордый и вспыльчивый. При кормежке мясо брал с рычанием. На стоянках Хасен сажал его на цепь, пес подпускал к себе только хозяина. Безродные аульные собаки сторонились Аккаска и облаивали его издалека. Аккаска их не замечал, позевывая лениво, часами лежал на брюхе пластом, положив длинную морду на длинные лапы, и лишь на охоте загорался, легко обгонял любого коня и лаял гулко, жутко. Глаза у него

светились, как у волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно горячие угли.

Несколько суток Хасан прожил с табунщиками, изучая повадки Серого Лютого, расспрашивая о нем. Мужчины ночевали в шалашах. И все ночи напролет у костров не утихали горячие споры об одиноком волке, убившем Курмаша. Но Хасен не услышал ничего нового, неожиданного для себя.

Говорили, что волк — бешеный. Говорили, что это вовсе и не волк, а гиена. Недаром он так немисливо прожорлив. Хасен не верил басням.

— Это волк,— говорил он.— А волка сеном не накормишь!

"Табунщики бранились, грозились:

— Эх, попадись он нам в руки!..

Хасен посмеивался:

— Что сделаете? Шкуру сдерете?

И только горькие слова отца Курмаша больно задели Хасна. На могиле сына он сказал охотнику:

— Ты малый бывалый... смелый, упорный... Правда, нелегко взять оборотня. Но, если ты не прикончишь его, знай — ты не родич мне и не джигит, никому ты не нужен, и собаке твоей грош цена. Тогда не показывайся нам на глаза.

Хасен решил собрать табунщиков на облаву — иначе не справиться. Их не пришлось уговаривать...

На рассвете, перед облавой, Хасен не дал своему псу мяса; поставил перед его мордой миску с похлебкой из мелко крошеного сухого овечьего сыра. Аккаска быстро поел и не спускал с хозяина глаз. Умный пес понимал: будет большая, важная охота, опасный гон.

— Ну, Аккаска,— сказал Хасен, трепля пса за ухо,— или ты его, или он тебя, иначе не разойдемся. Сынок Курмаш мертвый пойдет с нами третьим...

Аккаска внимательно смотрел хозяину в глаза, нетерпеливо помахивая рыжим хвостом.

Вышли в степь, и Хасен спустил пса со сворки, чтобы тот размял ноги, разогрел грудь. Аккаска громадными прыжками помчался по синеватым в утренних сумерках снегам.

Хасен разделил людей на несколько групп и разослал в разные стороны, а сам поднялся с Аккаской на каменистую вершину одинокого, открытого всем ветрам холма. Охотники разобрали аульных собак и ускакали. Хасен разостлал между острых камней плотную кошму, уложил на нее Аккаску и лег рядом на снег, придерживая пса за ошейник.

Аккаска лежал под рукой хозяина спокойно, лишь уши непрерывно ворочались из стороны в сторону, как флюгера. Отовсюду глухо доносились крикливые голоса, ерлашный собачий лай, растрепанный ветром.

Вдруг Аккаска поднялся на передних лапах, не подчиняясь руке Хасена, настороженно вглядываясь в сторону тихой лощины. Теперь пес походил на беркута, высматривающего со скалы добычу. Но долго еще в лощине было пусто и голо, а крики людей и лай собак, казалось, отдалялись. Вряд ли загонщики видели волка — серый шел в их многоверстном кольце невидимкой. Аккаска непривычно сгорбился, опустил морду. Уж не отвлекла ли его лежка зайца? Борзая любит ходить за косым.

Нет. Не ошибся Аккаска. Волк внезапно, неслышно показался там, где его ждал пес, — в тихой, пустынной, заснеженной лощине. Вот он, хитрец! Тут сугробы сыпучие, зябкие — целина. По свежему следу конь не пройдет, увязнет по брюхо.

Волк бсжал рысью, ходко, но неторопливо, осмотрительно, и Хасен с минутным сомнением прикусил губу, косясь на пса. Серый был во всей силе и издали напоминал чалого стригуна с волчьей мордой. Ни дать ни взять — оборотень!

Волк шел с надветренной стороны и не чуял охотника и борзую. Но Хасен не надеялся, что зверь подойдет на прицельный выстрел, и спустил пса, сказав: «Давай... Держи!»—а сам побежал к коню, привязанному за скалой.

Серый Лютый сразу, с первого же взгляда оценил статью и силу рыже-белой борзой. От нее

не убежать. Собака летела на него с холма с гулким, бухающим ревом, она была поджара и вдвое рослее черно-пегого кобеля. Позади нее, меж камней, точно меж верблюжьих горбов, мелькнул с черной гладкой палкой человек. Облава. Скорей!

Пес и волк столкнулись на снежном откосе, и пес с разгону сшиб волка с ног, но и сам покатился, не устояв. Оба вскочили, сцепились клыками и разошлись с окровавленными пастями, хрипло дыша. Нашла коса на камень...

Несколько раз Серый Лютый кидался на пса и встречал тяжкий, меткий удар клыками. Все же волк извернулся, сумел стать выше пса по косоветру и ухватил его пониже уха, как в начале зимы вожака стаи, но Аккаска не согнулся, сильно потряхнул волка и вырвался, оставив в его зубах шматок своей рыжей шерсти и кожи. Серый Лютый понял, что эта схватка скоро не кончится. А с холма уже несся галопом всадник, азартно крича:

— Держи, держи, милый! А-аккаска-а!

Серый Лютый коротко взвизгнул и пошел напролом.

Пес и волк опять сшиблись клыками так, что искры засверкали бы, если бы было темно. А тут Аккаска, не оберегаясь, а помня только то, что кричал человек, сунул нос прямо в волчью пасть и намертво схватил зверя за нижнюю челюсть.

Теперь их было не расцепить: пес грыз волчью челюсть, а тот — его, и ни один не мог повалить другого.

Подскакал Хасен. Лошадь плясала под ним, встав на дыбы. И руки у Хасена плясали. Он бросил ружье, выпрыгнул из седла и тоже, не думая о себе, повалился всем телом на каменнотвердую спину волка. Сунул ему под лопатку широкий нож.

Аккаска высвободил из судорожно ощеренной волчьей пасти изодранную морду и отошел. Постоял-постоял и упал на грудь. Против него лежал на боку Серый Лютый.

Стали подъезжать охотники, и один из них ткнул кнутовищем в зубы волку, размыкая его черно-красную пасть, и все поразились тому, как она велика.

— Дьявол!.. — сказал один, отходя.

— Коксерек! — сказал Хасен, бережно осматривая раны Аккаска.

Волчью тушу привезли в аул, бросили у юрты Курмаша, и здесь старая бабушка опознала Серого Лютого, как и Курмаш, по надорванному уху.

Коксерек! — вскрикнула старая бабушка, заламывая руки. — Трижды проклятый... Где же твоя совесть? Кровопиец!

И слабой ногой она пнула волка в оскаленную пасть.

*1929 г.*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Красавица в трауре.....	3
Сиротская доля.....	25
Серый лотый.....	51



Серия «Библиотека казахской прозы»

**Мухтар Ауэзов КРАСАВИЦА В ТРАУРЕ**

*Рассказы* Авторизованный перевод *А. Пантелёва*

Редактор *Б. Ильясова* Художник *В. Логинов* Художественный редактор  
*Ш. Байкенова* Технический редактор *С. Бейсенова*

ИБ № 67

Сдано в набор 10.02.2003 г. Подписано в печать 5.03.2003 г.

Формат 70x90 / Печать офсетная. Шрифт «Таймс». Усл. печ. л. 3.21.

Уч. изд. л. 3,05. Тираж 2000 экз. Заказ № 237.

Издательство «Аударма», 473000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 25 ЗАО  
«Астана полиграфия», 473000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 25,

**Издательство «Аударма»,  
2003 Общественное  
объединение  
художников-книжных  
графиков**

ISBN 9965-18-062-8 Карахстана, В. Логинов.